

My dear

John

na. Kerpyn's presence

My God or

Lord's presence

Yes, my

My dear my

John my

My dear my

John my

А. Л. ФЛИТ

ТАЛАНТЫ НА ИЗНАНКУ



1940

Государственное издательство
«Художественная литература»
Ленинград

8 (c) p
Φ-72

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Трудно бестрепетной рукой писать предисловие к пародиям А. Флита, если сам Флит уже предварил свои пародии пародийным предисловием, в котором зло и остроумно поиздевался над «предисловщиками». Разве найдется после этого такой откровенный и прямой молинейный «предисловщик», который не ощутит всей неловкости своего положения и не попытается хоть чем-нибудь завуалировать природу своего творчества, скрыть явные признаки жанра?

Конечно, каких только смельчаков не бывает. Могут отыскаться и такие, что не убоятся пародии. Но только автор этих строк не смеет сопричислить себя к ним. Он явно оробел от соседства с пародией на жанр, в котором он сейчас выступает. Он испытывает очевидное неудобство. И он силится утешиться уловкой, которую непримиримые критики обязательно назовут наивной, но которою он все же утешается. Он хочет «протащить» типичное предисловие под другим названием: Пусть уж лучше,— думает он,— зовется эта заметка — «вместо предисловия», чем прямо и просто — «предисловие». Не то, глядишь, прочтает читатель его предисловие, а потом пародию прочтет и засмеет «предисловщика» только за то, что он признал себя «предисловщиком». Нет, пускай уж будет лучше не «предисловие», а «вместо предисловия».

И на этом, так сказать, сравнительно мелком примере видим мы, какие мельчайшие неприятности и хлопоты могут возникнуть от пародии даже у лиц, вполне к ней расположенных. И еще раз убеждает нас этот довольно-таки пустяковый факт в том, какая это колючая вещь — пародия.

Впрочем, далеко не все пародии, которыми так богата наша литература в прошлом и которые в немалом числе появились в советские годы, отличаются одинаковой остротой. И вызвано это обстоятельство

отнюдь не только тем, что писались они людьми разными, с различными степенями одаренности. Причины здесь гораздо более глубокие, коренящиеся в самом понимании пародии, в отношении к ней и ее задачам, в самом определении ее функции со стороны ее творцов и толкователей.

Если взглянуть на прошлое русской литературной пародии, то станет совершенно очевидно, что в области пародии жили и боролись две тенденции, которые можно условно обозначить как тенденцию критическую и тенденцию стилизаторскую.

Конечно, стилизация — ироническое, смешно искажающее стиль пародируемого произведения подражание — является неотъемлемым элементом пародии. Без черт иронической, «сниженной» и несколько огрубляющей стилизации под пародируемый оригинал пародия просто не может жить. Но момент стилизации хорош в пародии только тогда, когда он выполняет для нее чисто служебную роль, когда он твердо подчинен общему идейному замыслу пародии и ее социальной направленности. Когда же ироническая стилизация, «подражание» через шарж и гротеск возводятся в принцип и превращаются в самоцель, тогда пародия приобретает типично стилизаторский характер. Такая пародия дразнит, смешит, но вызывает обычно смех незлобный. Она лишена сатирической окраски, сбивается на невинную юмористику. Ее роль в общественной борьбе ничтожна. Пародия-«дразнилка» не удерживается надолго в памяти поколений. Ее функция: временно-развлекательная.

Критическая пародия принципиально противоположна пародии стилизаторской. Такая пародия близка по своим идейным мотивам произведениям литературно-критического жанра. Она критикует, учит, исправляет, иногда «убивает». И сила ее социально-художественного эффекта зачастую превосходит силу действия критической статьи, ибо она опирается не на логико-публицистическую манеру, а действует оружием художественной сатиры. Стилизаторский момент ей органически свойственен, но играет в ней подчиненную роль. Он подчиняется ее критической целеустремленности.

Не случайно лучшие пародийные произведения, крепко вошедшие в историю нашей литературы, были именно критическими пародиями. Все они возникали

не из стилизаторской игры в смешное, не из подражания ради подражания, а базировались на идейно-социальных принципах, активно включались в литературно-общественную борьбу своего времени. В русской литературе XIX и начала XX вв. именно такие пародии, пародии критические, оказались мощной и прогрессивной силой. Достаточно вспомнить пародии Пушкина и Некрасова, тончайшие пародии Н. А. Добролюбова, пародии Кузьмы Пруткова на мещанскую лирику Бенедиктова или на антологическую лирику Щербины, пародии Д. Минаева, Н. Гнута-Ломана и других «искровцев» на Фета, Майкова и прочих поэтов «чистого искусства», меткие пародии В. С. Соловьева и А. А. Измайлова на декадентов, убийственную по остроте и меткости пародию А. Куприна на прозу И. Бунина, блестящие пародии А. М. Горького (в «Русских сказках» и др.), чтобы сполна убедиться в огромных литературно-критических и социально-активных возможностях этого жанра.

И разве не характерно, что все эти произведения продолжают жить в памяти широких читательских слоев, тогда как более поздний по времени возникновения коллективный сборник пародий — «Парнас дыбом», запечатлевший в себе типично стилизаторские тенденции, памятен лишь нескольким сотням лиц со специальными историко-литературными интересами.

Характерно, что противоположность тенденций стилизаторских и критических в пародии закреплялась не только в прошлой практической поэтической борьбе, но и в теоретическом осознании особенностей и перспектив развития пародии. Еще Н. Остолопов в своем «Словаре древней и новой поэзии» (СПб, 1821, ч. II) различал «изнанку» и «пародию». А литературные реакционеры весьма активно боролись против критической пародии, именуя ее «тенденциозной» и боясь ее прогрессивно-разрушительной силы, направленной против рутин в искусстве и жизни. Они в противовес ей активно пропагандировали «развлекательную сатиру», ту, о которой еще известный реакционер Н. И. Греч писал, что она «достигает цели своей живым изображением глупостей в легком, забавном и насмешливом тоне, непринужденным и естественным остроумием» («Учебная книга русской словесности, или избранные места из русских писателей в прозе и стихах, с присовокуплением правил риторики и пиитики и обзора истории русской лите-

ратуры, изданная Николаем Гречем». Часть IV, СПб, 1844). И именно в противовес всем и всяческим охранителям «старого порядка» русская революционная демократия в литературе всемерно отстаивала право на критическую тенденцию в пародийном искусстве. Она понимала и ценила огромные социальные возможности пародии как жанра художественной критики, не ограничивала пародии узко-литературными задачами и воспринимала ее как острое оружие политической борьбы. Именно так смотрел на нее великий русский критик и блестящий мастер поэтической сатиры — Н. А. Добролюбов, писавший, что «для насмешки и пародии предстоит еще большая работа: сопровождать русскую жизнь в новом пути... и преследовать свистком всякого, кто без толку сунется на этот путь и начнет тут вертеться, дела не делая, а только мешая другим» (рецензия на «Перепевы, стихотворения Обличительного поэта» (т. е. Д. Минаева), «Современник», 1860, VIII).

Советская литература преемственна по отношению к лучшим традициям литературного прошлого. Она принимает и развивает наследство.

Именно поэтому в нашей литературе пародийные тенденции живут и движутся как тенденции критические. А тенденциям стилизаторским в открытую объявлена война.

Достаточно вспомнить о блестящих пародийно-сатирических чертах поэзии и драматургии В. В. Маяковского, о творчестве недавно скончавшегося замечательного мастера пародии А. А. Архангельского, чтобы понять правоту этого утверждения.

Подтверждает его и работа А. М. Флита.

«Таланты наизнанку» — уже не первая книга пародий Флита. И подобно предшествующим, эта книга отмечена одним бесспорным достоинством: в ней ясно выражена тенденция борьбы за критическую пародию, за острую публицистическую сатиру.

Флит очень хорошо чувствует стиль большинства пародируемых им авторов. Стоит взять в разделе «Братья-писатели» хотя бы такие пародии, как «Эн Ве Гоголь и другие» (тема «Чуден Днепр...» у Ю. Олеши, Л. Соболева) или «А. Пушкин и другие» (тема «Зима. Крестьянин, торжествуя...» у В. Рождественского, М. Комиссаровой, А. Решетова и Л. Поповой), чтобы воочию убедиться в том, что Флит отлично

отражает в своем «кривом зеркале» тончайшие детали стиля писателей различных творческих индивидуальностей. Он превосходно схватывает особенности интонации, лексики, поэтического колорита и остроумно их окарикатуривает.

Но отнюдь не этими только «пересмешническими» чертами работы Флита обеспечивается ее удача. Лучшие его пародии удались прежде всего потому, что они идейно заострены, потому, что они по-боевому публицистичны. Многие пародии Флита возникли как живые отклики на те задачи, которые партия и партийная печать выдвигали перед нашей литературой. Целый ряд его пародий ставит в сатирическом плане важные проблемы культуры. Такие пародии, как «Изыскания (Пушкинский сборник № 1001)» или «Курочка-Ряба», крепко бьют по псевдонаучной схоластике. «Путешествие в исторический роман» удачно высмеивает вульгаризаторство в подходе к историческому прошлому, а «В гостях у педагогов» больно ранит вульгарных социологов, долгое время своим убогим схематизаторством извращавших задачи эстетического воспитания. Остро-публицистичны и «проблемны» не только пародии, но и басни А. Флита.

Среди пародий Флита в разделе «Братья-писатели» особенно хочется выделить пародии на поэтов Н. Брауна, В. Инбер, А. Прокофьева, И. Садофьева. И беспредметность лирико-патетической манеры Брауна, и «фольклоризм» Прокофьева, и пролеткультовский «железобетонный» стиль Садофьева, и лирико-индивидуалистические и романсные черты поэзии Инбер тонко подмечены пародистом. Очень хороша по-настоящему злая и по справедливости резкая пародия на «Дневники» М. Шагинян («Мои раздумья»). Весьма принципиальны пародии на «Бруски» Ф. Панферова и на «Восковую персону» Ю. Тынянова. Первая хлестко критикует вульгарно-натуралистические черты в романе Панферова, вторая направлена против формалистических тенденций в языке «Восковой персоны».

Несмотря на свою близость к критике критическая пародия все же по своим прямым задачам уже первой. Если критика анализирует, не только отрицает, но и утверждает, то пародии свойственно главным образом отрицать, нападать, бить. Не случайно поэтому в остроумной пародии на «Голубую книгу» М. Зощенко Флит не «замечает» новых сатирических тенденций, проявившихся впервые у Зощенко в этом

произведении, а пародирует сочетание «истории» и иронии и анекдотические сюжеты «исторических» новелл автора. Точно так же, пародируя «Бруски» Панферова, он проходит мимо широты изображаемой автором картины жизни советской деревни и направляет свой критический огонь против грубо-натуралистических срывов в эпопее Панферова. По той же причине очень смешные пародии на переводы Шекспира Анны Радловой обходят общее положительное значение этих новых переводов, лишь вышучивая языковые вульгаризмы, которыми злоупотребила переводчица. Но, отмечая неудачи, промахи, срывы мастеров, иронически высмеивая недостатки их работы, пародия косвенно помогает писателям. Она так высмеивает ошибки, что делает их как бы уже неповторимыми. Она «гарантирует» от рецидивов.

Есть у Флита пародии, которые представляются мне спорными. Это такие пародии, как, например, пародии на М. Пришвина, на А. Твардовского. Мне кажется, что здесь самые объекты не могут служить мишенями для отрицания, для сатиры. И поэтому пародии получаются стилизаторскими. Это легковесные «дразнилки». Но и в этих пародиях много смешного. А поскольку смех менее всего можно «регламентировать» и «унифицировать», то надо думать, что и эти пародии могут вызвать мнения, с моим не согласные.

Книга Флита должна порадовать читателя. В ней есть публицистический нерв, есть критическая острота, есть по-настоящему смешное пародийное мастерство. Очень часто Флит бывает и острым и резким. Но при этом он неизменно весел. Он хорошо смеется. Весело. Заразительно.

А «лица людские смеются с смеющимся...» (Гораций).

Ал. Дымищ

От автора

Предлагаемая вниманию читателя книга литературных пародий не лишена, по мнению автора, некоторых черточек, заслуживающих внимания, и представляет собой небезлюбопытный опыт и небезрезультатную попытку заострить, выявить, выпятить и оттенить не без целеустремленности ту или иную небесхарактерную черту того или иного небесталантливого писателя.

Представляется спорной проблема сатиризации вопроса в целом и в деталях, выбор стилизового стержня, лексического и семантического словаря, смысловой композиции и образной площадки того или иного писателя.

Но поскольку при всех огромных недостатках и провалах книги в ней намечаются кое-какие слабые попытки кое к чему и вообще в некоторых частностях, в разрезе и на базе, автор полагает небессодержательным и небесполезным представить эту книгу на суд читателя, заранее решительно отмежевываясь от безответственной „пародийщины“ во всех ее проявлениях, допущенных в книге, и скромно надеется, что ему так или иначе удалось шагнуть.

Размер шага и его направление (вперед или назад) автор всецело предоставляет критике.¹

¹ По желанию читателя предисловие может быть прочитано в конце книги в качестве рецензии, с очень незначительными изменениями.

Н. Н. ПАПЕРНОЙ
посвящается
эта книга



ПРОГУЛКИ
И
ПУТЕШЕСТВИЯ







ПУТЕШЕСТВИЕ В ПУШКИНАНУ

ИЗЫСКАНИЯ

Пушкинский сборник № 1001

ВАС. СОЛОВОВЫХ

ПУШКИН В СУХОЛЕСАХ

Новые материалы

Сухолесы—небольшое живописное село в бывшей Киевской губернии, лежащее в полутора километрах от ж.-д. линии Фастов-Знаменка Ю.-З. ж. д.

Сухолесы расположены на 48° широты, при слиянии речек Гнилозубки и Остреча, двенадцатого притока Днепра.

Климат умеренный. Ветры переменные. Флора и фауна типичны для южного края средней полосы.

Почва—суглинок, кое-где намывной песчаник, изредка—известняки.

От села Каменки, где, как известно, гостил А. С. Пушкин, Сухолесы отстоят по прямой линии на расстоянии 143,16 километра.

Аркадакский считает факт заезда Пушкина на постоянный двор в Сухолесах при поездке из Каменки в Киев по меньшей мере не установленным.

Однако Шипучин-Замирайло склоняется к точке зрения Тихоходова, ездившего в Сухолесы.

Тихоходову удалось совершенно точно установить, что в период времени между ноябрем 1821-го и февралем 1822 года на постоянный двор в Сухолесах, у мельницы (на месте нынешнего совхоза № 23), заезжал А. С. Пушкин.

Тихоходов основывается на показании старожилы Арсения Непомнящего, который со слов своей прабабки Степаниды, записанных ее двоюродной теткой Агнией Нечипоренко, в замужестве Горбатьюк, рассказывал Тихоходову, что какой-то „кучерявый молодой барин, а может, и старик, кто их упомнит“, не то зимой, не то летом наезжал на постоянный двор сменить лошадей.

Тихоходов склонен предположить, что некоторые строфы „Евгения Онегина“ зародились именно в Сухолесах (см. „Зима. Крестьянин, торжествуя...“ и т. д.).

Однако состояние пушкиноведения как науки на сегодняшний день не дает, к сожалению, еще возможности с достоверностью восполнить этот зияющий пробел в творческой биографии поэта и установить, заезжал ли Пушкин на постоянный двор в это живописное село.

И. КРОХОБОРОВ

НОВОГОДНИЙ БОКАЛ ПУШКИНА

Краткое сообщение

Не так давно (в 1895 г.) скончался В. В. Новоселов-старший, последний из владельцев новогоднего бокала А. С. Пушкина.

Бокал, по не дошедшим до нас рассказам очевидцев, хранился в семье И. И. Иванова-Гусятникова, женатого на Н. Н. Недрыгайловой, старшей дочери генерала-от-артиллерии Недрыгайлова.

Бабушка Н. Н. Недрыгайловой, Аделаида Александровна Недрыгайлова, урожденная Самоварникова, передавала деду Иванова-Гусятникова Эпаминонду Петровичу, отставному штабс-капитану лейб-гвардии Семеновского полка, что Пушкин пивал из этого бокала под новый 1834 год на встрече у Жуковского. Бокал представлял собой восьмигранник толстого полубемского стекла александровской эпохи, с углублениями на ножке, высотой в $2\frac{3}{4}$ сантиметра.

С левой стороны на основании бокала имелась выемка в $\frac{1}{4}$ сантиметра со следами выщербления.

Томатов считает выемку следствием удара о какой-либо твердый предмет, скорее всего стол. Он относит время появления выемки к 40-м годам, после смерти поэта. Однако Тузович-Тузенабах считает выемку существовавшей еще при жизни поэта.

Азбукиведский в 80-х годах прошлого столетия пришел на основании опроса очевидцев к заключению, что выемка на бокале Пушкина очень раннего происхождения (примерно эпохи Елизаветы Петровны). Бокал уже в поврежденном виде попал в семью поэта в 30-х годах.

В настоящее время как бокал, так и описание его, составленное В. В. Новоселовым-старшим, безвозвратно утеряны.

НЕСТОР ПИМЕНОВ

НЕПРОЧТЕННОЕ СЛОВО ПОЭТА

Текстологический фрагмент

В одной из пушкинских тетрадей, на странице 74-й, в углу, слева наискосок, внизу имеется под двумя кляксами трижды зачеркнутое слово.

Текстолог, т. е. ученый, работающий над раз-

бором текста, прежде всего должен быть хладнокровен.

Основное в непрочтенном слове—это анализ клякс и бумаги, на которой они поставлены.

При помощи сильно действующих реактивов автору удалось после месячного труда прочесть формулу состава чернил того времени.

В начале XIX века в Петербурге чернила изготовлялись преимущественно из чернильных орешков иностранцами—немецкими и голландскими—мастерами, проживавшими в Чернильной слободе, ныне не существующей.

Чернила продавались в расфасованном виде, склянками различной величины.

По авторитетному утверждению И. С. Улыбайченко, лучшего черниловеда пушкинской поры, Пушкин в основном пользовался темнозелеными, полуализариновыми чернилами с синим отливом.

И. С. Улыбайченко химически исследовал до 150 клякс на рукописях поэта разных периодов его жизни и пришел к любопытнейшему выводу, что все чернила были разных цветов.

Однако возвратимся к непрочтенному слову поэта.

Слово, повидимому, состоит из нескольких букв, примерно от четырех до шести. Первая клякса, назовем ее кляксой *А*, покрывает все слово по нижней его доле. Вторая клякса, назовем ее кляксой *Б*, симметрично покрывает верхнюю долю слова, захватывая и часть чистого поля тетради.

Один из наших талантливейших кляксологов З. У. Блошкин склонен утверждать, что клякса *Б* поставлена отнюдь не рукой поэта, а одним из позднейших текстологов и кляксологов, работавших над рукописями Пушкина.

Блошкин основывается на расчете угла падения кляксы и траектории ее полета с кончика пера на бумагу: при писании гусиным пером, каким пользовался Пушкин, клякса, срываясь с кончика пера, имеет более плотную массу и шлепается густо на бумагу, почти не разбрызгивая чернил.

При писании стальным пером клякса, легко отделяясь от кончика пера, летит по параболе, она значительно менее плотна и легко разбрызгируется.

При тщательном сличении двух посаженных в углу страницы 74-й клякс, кляксы А и кляксы Б, Блошкин заметил около кляксы Б четыре брызговых точки, явно слетевших со стального пера, т. е. позднейшего, послепушкинского пера.

Что же представляет собою непрочтенное слово? Независимо от клякс, слово, состоящее из четырех—шести букв, носит следы многократного перечеркивания.

П. И. Серячковский утверждает, что ему удалось прочесть две средних буквы в слове,—это „си“.

А. А. Пюре, посвятивший последние годы своей научной работы исключительно прочтению первых двух букв зачеркнутого слова, склонен читать их как „но“.

Таким образом, дружными усилиями пушкиноведения удалось в непрочтенном слове поэта расшифровать ориентировочно четыре буквы: „носи“ (те?).

Впрочем, существуют сильнейшие разночтения. Так, П. П. Сардинкин читает не „носи“, а „звез“, полагая, что последние две подкляксовые буквы—это „да“, а все слово звучит как „звезда“.

Однако Д. И. Заумовский-Заумилло, пользуясь своим методом разночтения под-над-пере-чер-

кнутых слов, читает первые четыре буквы как „миле“, полагая, что подкляксовой может быть только одна буква, а именно „й“, и все слово, таким образом, звучит как „милей“.

В заключение два слова о бумаге страницы 74-й пушкинской тетради.

Бумага пониженного качества, так называемая „пятидесятипроцентная“, с розовыми прожилками, средней плотности, довольно гладкая. По краям страницы—легкая желтизна.

Н. В. КАПУСТИН

ЩЕЙ ГОРШОК

Опыт кулинарного анализа

В приложениях к „Онегину“, в главе „Странствие Онегина“, в строфе XVI, в последних двух строках читаем:

Мои желания покой,
Да щей горшок, да сам большой...

В 20-х годах прошлого столетия, к которым относится написание „Евгения Онегина“, щи были в большом ходу.

В александровскую, а затем и в николаевскую эпоху существовало несколько видов щей, упоминающихся в дошедших до нас меню ресторанов и трактиров, а также частных барских и небарских домов.

Это были щи ленивые со сметаной, так называемые свежие щи, кислые щи, щи суточные и т. п.

Что же такое щи?

Владимир Даль определяет щи как „похлебку мясную или постную из рубленой или квашеной капусты“. Если капуста заменяется свеклой, то щи превращаются в борщ.

Какие же щи имел в виду поэт в „Странствии Онегина“?

Надо полагать, что самые обыкновенные кислые щи. И вот почему.

По записям самого поэта „Странствие Онегина“ частично написано им в селе Павловском, Тверской губернии, где он проживал в октябре 1829 года.

Учитывая неурожай свежей капусты по Тверской губернии в 1829 году, следует признать, что поэт питался щами из квашеной капусты, т. е. кислыми щами, отсюда и образ — „щей горшок“.

Заканчивая эту небольшую публикацию, мы считаем своим долгом выразить глубокую благодарность поварам первой руки фабрик-кухонь № 1 и № 4 — Картошкину и Лучкову, снабдившим нас исчерпывающим материалом по современным щам, а также историк-кулинароведу С. С. Борщеву, любезно указавшему нам на неурожай свежей капусты в год написания „Странствия Онегина“.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТОЛСТЫЙ ЖУРНАЛ

Очередная книжка

Г. П Р О З А

У. ФЕДОРОВ-ЗАДУНАЙСКИЙ

ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ...

Роман из жизни Суздальской Руси

Глава XXXIX

Великий князь Всеволод-Дмитрий Юрьевич, по прозванию Большое Гнездо, одетый в пышную ахلامиду с лапами заморскими и персидской оторочкой, оглядел праздничный боярский и великокняжеский стол, за которым сидели в ряд его сыновья—князя Юрий Всеволодович, Глеб Всеволодович, Иван Всеволодович, Владимир Всеволодович, Константин Всеволодович, Ярослав Всеволодович и Святослав Всеволодович.

Великий князь поднял братину со хмельным вином:

— Ой вы, гой-еси, бояре и сыны мои молодецкие! А удумал я ноне рязанцев бить. Господи, благослови!

Князь выпил и не поморщился.

Ударили к вечерне у Спаса Нерукотворного, зазвонили у святой Троицы Владимирской, загудели великомученики Фрол и Лавр.

В княжьем терему быстро сгущались древние сумерки... (Продолжение следует, как только автор спишет у другого, забытого автора подходящую главу.)

ИВАН ЗАГОГУЛИН

СТАРИК

Новелла

Старший полевод Аким Федотыч стоял раско-рякой в Черном море, почесывал подмышками и всматривался в даль.

Вдали никого не было.

За спиной Федотыча высился белый красавец санаторий; над ним щедро изливалось жаркое крымское солнце.

— Эх, и едят тебя мухи с комарами!—крякнул в восторге старик.—И все это для меня?

Федотыч поболтал трудовой, с синими прожилками, ногой в изумрудной воде, и крупные старческие слезы благодарности алмазным бисером упали в воду...

ОЛЕГ ДУШЕГРЕЯ

СТАРУХА

Новелла

Старшая свинарка Кузьминишна, опираясь на палку и оберегая свои подагрические ноги, шла по санаторному пляжу под рокот прибоя, направляясь к конюху Лукичу, лежавшему поодаль.

— Здорово, Лукич,—кликнула она старика.

— Здорово, Кузьминишна,—веселó откликнулся Лукич.

Старики сели рядом, посмотрели на море, на солнце, на белый красавец санаторий, который высился позади, и—заплакали.

II. СТИХИ

ЭПАМИНОНД ХРУЛЕВ

ПРОЩАНИЕ

Стихи

Я еду рубать березы,
Я буду строить плоты,—
Утрешь ты, родная, слезы,
И будешь учиться ты.
Стоим мы с тобой на перроне,
Второй раздастся звонок,
Махну я кепкой в вагоне,
Ты вынешь из сумки платок.
А поезд пойдет, громыхая
По стрелкам, в чужие края.
Девчонка моя—неплохая,—
С тоскою подумая я...

ЕЛПИДИФОР ХВАТКИН

РАССТАВАНИЕ

Стихи

Не надо слез, роднуша, ни гу-гу...
Ты в дождь не забывай надеть галоши.
Я на другом, на дальнем берегу
Такой же буду молодой, хороший.
Второй звонок звенит, мне слышится
свисток,
Махаю кепкою я, стоя на ступеньках.
Из сумки вынула ты кружевной платок...
Не забывай и помни хорошенько.
А поезд громыхает звонко.
Как птица, вылетел мой молодежный вздох:
—Эх, хороша любимая девчонка!
Да сам я тоже, кажется, неплох!!

И. БРУНГИЛЬДЕР

*К ВОПРОСУ О РОМАНТИЗМЕ И РЕАЛИЗМЕ
В ПРЕДПОСЛЕДНИХ СТИХАХ КУСИЩЕВА*

В порядке постановки вопроса

Родион Кусищев пишет давно, что, однако, не мешает ему совершать грубые методологические и творческие ошибки.

Вместе с тем нельзя не признать, вопреки мнению Жбанова-Стопкина, что ориентировочно на данном этапе, учитывая конкретно весь диапазон Кусищева, следует все же отметить стихотворение „Утро на опушке“, которое хотя и не блещет, но все же остается на уровне, будучи небезлюбопытной попыткой к реализму, постольку, поскольку, в известной дозе попахивая одновременно романтизмом дошиллеровской поры.

Н. Н. НЕГОДЯЩЕНСКИЙ

НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО СТЕПАНЮКА

Третьестепенный писатель первой, второй и третьей четверти XIX века Антон Феофилактович Степанюк (1799—1874) написал три романа, шесть повестей и семнадцать рассказов, не считая более мелких произведений.

Неизданное и неопубликованное письмо Степанюка касается небольшого карточного долга в три рубля серебром.

Письмо адресовано тоже третьестепенному прозаику И. И. Солодищеву-Карпека (1817—1887) и содержит ряд нецензурных выражений, которые будут при публикации отмечены точками в угловых квадратных скобках.

Письмо состоит из десяти строчек, написанных убористым, выписанным мужским почерком темно-зелеными чернилами с проседью.

Бумага 12 × 18, бледносеро-желтая, с пятнами сырости. На полях — пометка карандашом: „Свинство“, повидимому позднейшего происхождения.

Письмо будет напечатано в полном юбилейном собрании сочинений Степанюка в 1940 году (шестидесятишестилетие со дня смерти).

IV. БИБЛИОГРАФИЯ

Оскар Задоля.
„Закат пламенеет“

Роман. Изд-во „Народный писатель“. Москва, 1938, стр. 999. Четыре части в одном томе.

Оскар Задоля не новичок в литературе, однако на протяжении 999 страниц своего романа из жизни ателье мод он совершает ряд грубейших формальных, скандальных грамматических, синтаксических и творчески-методологических ошибок.

Материал Задоля обнаруживает незнание материала и распадается на аморфные куски литературных заготовок.

Вместе с тем выпуск книги следует приветствовать, так как роман в целом и отчасти, от части к части, до известной степени, ориентировочно дает или, вернее, пытается дать советскому читателю некоторое представление о жизни работников иглы и ножниц.

И. БР.

Эсхил Барабанов
„Моя сокровенная“

Первая книга стихов. Изд-во „Всеиздат“. Ленинград—Москва, 1938, стр. 46^{3/4}.

На протяжении 46^{3/4} страниц автор бестактно выпячивает свое голое поэтическое „я“, не нагнетая абсолютно никакой смысловой установки в свои стихи, скользя по поверхности и не пытаясь вскрыть и понять.

Все же там и сям у Барабанова попадаются не очень плохие строчки, полустрочки и паузы, а также отдельные удачно найденные словечки. Так, например, на стр. 28-й в третьей строке снизу свежо звучит: „Ты не рви любви“, и на стр. 37-й удачно найдено словосочетание — „молодой худой с бородой“...

ЗЕТ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

І. РОМАН АЛЬКОВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Фрагменты

Екатерина, худощавый подросток прусской крови, со слабо сформировавшимся бюстом, лежала в спальне и сжимала себя самое в объятьях.

Перина была из лучшего французского пуха.

Но ей не спалось на тысячной перине, в то время как Санкт-Петербургский плебей получал в сутки за очистку воза пуха и пера полторы копейки ассигнациями на перинном дворе.

Пять часов пополуночи.

Шелковые драпри чуть колышутся над альковом.

Французский шелк „драпри-ассорти“ котировался на лионской бирже от 10 до 50 рублей аршин. А большой кусок дерюжины или сермяжи стоил пятак серебром.

Март. Санкт-Петербург.

Ложе.

За окном падает снег влажный и мягкий, как двухдневная простокваша.

Кровь стучит в будущей императорской голове.

Пуд говяжьих голов стоил на рынке полтора алтына с доставкой на дом.

Без стука, плавно покачивая еще упругими бедрами, вошла императрица с большим мягким животом и пухлыми руками с ямочками. Ее ножки были изящны. На пухлой груди поблескивало кольцо.

Пуд свежих телячьих ножек для студня стоил не свыше тридцати копеек с упаковкой, а приличное парижское кольцо—от 100 до 150 тысяч золотом.

Словно каменный статуя Венус, высилась в петергофском гроте еще не старая императрица и пожирала глазами молодого Петеньку.

Августейшая грудь ходила, как окиян-море в бурю.

Над гротом, бесстыдно хихикая, нагишом всходила луна, а у грота стоял бывший августейший хахаль, Разумовский, и со злости покусывал изящный набалдашник слоновой кости.

Пуд индийской слоновой кости стоил франко-Гамбург 500 тысяч, а пуд местной ливерной колбасы от силы—четвертак.

II. РОМАН ИЗЫСКАННО- ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ

Императрикс надела праздничную распашонку с аржамантом лионского велура, подбитую фламандским пухом, поверх голландского комбинэ с кружевами, подарок принца Оранского, и уселась на стул Луи Каторз подле фенстера, выходящего на флус Неву.

Императрикс раскрыла вольтеров шестой том в желтом сафьяне с инкрустациями, но третья глава „Кандида“ ее не увлекла.

Коварные происки султана турецкого Муштафы, зона Мухамеда Третьего, и королюса

французского Луи-Август-Мария Пятнадцатого занимали императрикс.

Позвонила в колокольчик тончайшей парижской работы Верни-Фрэр, дискретный подарок дюка д'Орлеан. Вспомнила дюка и взялась рукою за сердце. Пальпетация под корсажем зело чувствительная. И визаж—бледный, как тогда на балу в Парадизе. Медленно ступая по ковру тонкой ручной работы,—подарок шахуса персидского,—вошла фрейлина медхен графиня Шувалова третья, обнажив в улыбке желтые лошадиные зубы (в шестисотлетнем роду Шуваловых—зубы лошадиные, и нижняя челюсть зело вперед выдается).

— Позвать графа Румянцева!

Командующий 2-й российской армией, действующей против султана турецкого в районе левых притоков Дуная, граф Петр Александрович Румянцев, одетый в мундир тонкого зеленого французского сукна, мягко ступая ботфортами прусской работы, вошел в шлафциммер—опочивальню—и склонился к руке императрикс.

На верках Петропавловской цитадели ударила одна из канонен На настольном календарусе, голландским купцом Иеронимом Вангутеном подаренном, была пятница, 7 февраля 1772 года.

ПРОГУЛКА В УНИВЕРМАГ ЛИТЕРАТУРЫ

КРАТКИЙ КАТАЛОГ

И. КНИЖНО-КАНЦЕЛЯРСКИЙ ОТДЕЛ

Получена новинка „Вечный сюжет“. Оригинальный набор испытанных и проверенных на зрителях ситуаций, а также теплых и полутеплых персонажей, в изящной коленкоровой коробке с объяснением.

Каждый взрослый, даже неопытный писатель, просмотрев объяснение, может легко и быстро составлять и переиздавать любые драмы, комедии, романы и повести. Практично в дороге. Не будит мысли, не раздражает нервной системы.

Цена в коленкоровой изящной коробке... Впрочем, цены нет такому набору в умелых руках!

II. МЕТИЗНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

В огромном выборе—щиты для поднятия писателей с последующим сбросом. Разных размеров. Важно для тт. критиков и литературоведов.

III. АНТИКВАРНЫЙ ОТДЕЛ

Подлинные выражения XII, XIII и XIV веков. Подлинные истлевшие части одежды с точным и непонятым наименованием. Краткие словари бран-

ных древнерусских и византийских слов от Ярослава Мудрого до Ивана Калиты с переводом и без. Незаменимо для исторических романистов, желающих углубиться в дебри.

В большом ассортименте имеется Екатерина II всех возрастов и в любых разрезах: эстетическом, альковном, идеологическом и др.

IV. ЖИВОПИСНО-ГАЛАНТЕРЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Изящные мелкие украшения для романов и повестей, скользящих по поверхности, как то: экзотические названия местных блюд и местностей, готовые описания природы всех поясов от Арктики до субтропиков, а также все для лакировки, как то: кисти, лаки, сусальное золото и пр.

V. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Все для банкетов и встреч с... Полный набор застольных речей—до, в середине и в конце ужина, с примерным текстом тостов и обещаний.

VI. ДЕТСКИЙ МИР

Получены „Вопросники и ответники“, занимательные и не очень.

Большой выбор ценных переплетов разного тиснения под цвет полок.

А также получены маршаки всех размеров в роскошных перепереизданиях.

При отделе бесплатная консультация с детскими писателями на тему „Как поскорей научиться писать хорошие, увлекательные детские книги“.

VII. ОТДЕЛ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Имеется „сухой роман“ в кубиках. Один кубик романа, растворенный в ведре воды, дает от пяти до восьми листов продукции, годной для ежес-
ячника типа „Нового мира“.

Получена „сгущенная новелла с сахаром“. Слегка подогреть на огне современности и пода-
вать в журнал.

Всегда на буфете свежий винегрет из старых настриженных газет и мемуаров.

С успехом применяется при изготовлении тол-
стых романов! Минимум труда! Масса благодарно-
стей! Роман, изготовленный из нашего винегрета,
может спокойно вылеживать на библиотечной
полке годами, сохраняя свой вкус, запах и цвет.
Не боится пыли!

Заказы принимаются лично и по телефону.
Доставка на дом. Торопитесь!

В ГОСТЯХ У ПИСАТЕЛЕЙ

СУД СОВРЕМЕННОКОВ

В клубе прозаиков и новеллистов полумасти-
тый писатель Авенир Невеликанов прочитал свою
новую повесть „В бурю, во грозу“.

Когда автор задушевым баритоном прочел
последнюю фразу повести: „Смеркалось, по небу
ползли тучи, слышались отдаленные раскаты
грома“, в изящной гостиной стиля „ранний ампир“
наступило вежливое, но томительное молчание.

Председательствующий, прозаик Херувимский,
с мягкой улыбкой оглядел собравшихся.

— Кто желает высказаться?

Критик Постолькин от напряжения мысли
громко кашлянул и тут же, испугавшись, что
председатель сочтет этот вызывающий кашель за
желание высказаться, немедленно принял безраз-
личный вид.

Все молчали.

Собрание улыбалось.

Критик Посколькин внезапно чихнул. Взоры
всех присутствующих обратились на него, но он
проворно скрылся за спину маститого писателя
Образцова.

Председатель выждал еще секунд двадцать и
сказал:

— Поскольку никто из присутствующих, как
видно, не желает говорить первым, разрешите

мне. Товарищи! Повесть Невеликанова очень мила. Очень. Я прямо, откровенно должен признать, что не без удовольствия просмотрел ее перед тем, как прийти на обсуждение. Вполне стоящая вещица. И язык, и образы, и сюжетные повороты—всё на месте. Следует всячески приветствовать; не знаю, как вам, но мне вещь определенно очень и очень нравится.

Собрание оживилось.

— Позвольте мне!

— А потом мне!

Критик Постолькин протер очки и смело нацепил их снова на нос.

— А ведь и вправду неплохо это все заверчено у Невеликанова, товарищи. Повесть вполне на уровне. Конечно, кое-что не выпячено, там и сям недожато, местами не веришь, местами не чувствуешь, кое-где не ощущаешь, но это пустяки. Вещь вполне на месте. Не знаю, как другим, но мне нравится. Повесть как повесть!

Критик Посколькуин долго разглядывал листки своего блокнота, потом вдохновенно вскинул глаза на автора:

— Дорогой Авенир, ты знаешь, что я люблю резать правду-матку в глаза. Твою вещь я уже прослушал дважды. Не буду кривить душой: повестушка прекрасная! То, что надо. Не знаю, товарищи, как вам, а мне определенно нравится. Есть кое-что не совсем ужатое, местами попадаютя недовыпяченные места, но это что ж... без этого не обойтись, а так, в целом, хорошо. Я бы даже сказал—прекрасно!!

Список ораторов рос неудержимо.

Маститый писатель Образцов ласково оглядел собрание и рокочущим, бархатистым, хватающим за сердце образцовским басом сказал:

— Дорогие собратья по перу! Нас иногда

упрекают в том, что мы не критикуем друг друга по существу, — разрешите же мне сейчас взять на себя эту неблагоприятную задачу и покритиковать нашего дорогого Авенира Иваныча.

„Скажу тебе по совести, Авенир Иваныч, порадовала меня, старика, твоя повесть. Ох, как порадовала. Удалась тебе вещь. Воздух есть в ней. Земля животворящая есть. И главное — теплые, полнокровные, живые люди. Они у тебя двигаются, что-то такое говорят, с ними кое-что происходит. В общем, повторяю, эта повесть — одно из отрядных ведущих явлений литературы. Поздравляю тебя, Авенир Иваныч, и позволь тебя обнять“.

Обсуждение теплело с каждой минутой.

Образцов подошел к Невеликанову и сдержанно, но с чувством облобызал его.

Почуввав общий ликующий тон выступлений, пожилой писатель из „молодых“ Растаковский в краткой, но захлебывающейся речи сказал, что уже давно не читал он ничего подобного повести „В бурю, во грозу“. Растаковский ударил себя в грудь.

— Не знаю, как у вас, товарищи, но у меня при чтении навертывались слезы. Я не все расслышал, так как далеко сидел, но то, что я услышал, — это замечательно! Это по-настоящему, стопроцентно волнует, волнует и потрясает до глубины души.

Растаковский захлебнулся восторгом и сел на место.

— Кому еще угодно? — спросил председатель, ловко маскируя зевоту.

Собрание улыбалось.

— В таком случае позвольте считать собрание прозаиков, критиков и новеллистов закрытым и поздравить Авенира Иваныча с удачным вкладом в литературу.

Гостиная „ранний амфир“ опустела.

Современники устремились к трамваю.

— Ну и дрянь повестушка! Где воздух? Где земля? Где люди?—прогудел Образцов, подхватив под руку Херувимского.

— Ни языка, ни образов, ни сюжетных ходов,— возмутился председатель.

Критики шли поодаль.

— Стыдно было слушать эту серую, нудную мешанину,— вздохнул Постолькин.

— Следовало бы, конечно, разгромить повесть до основания,— буркнул Посколькин.— Но стоит ли связываться?

— Вот именно! Стоит ли связываться?

На трамвайной остановке современники столкнулись с героем вечера.

Великолепный Образцов дружеским широким жестом привлек Невеликанова к себе, оскалил зубы в приветливой улыбке и задышал ему в лицо, мягко пожимая руку:

— Авенир! Верь моему чутью: вещь настоящая! Поздравляю!

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В порядке воображения

1. РОМАННИСТ

— Что я пишу? Э... как бы вам сказать, Иду назад я сквозь века и бури.

Меня интересует... Рюрик,

Ведь он для нас закрытая тетрадь!

Возьму культуры первые побеги

На Киевской Руси, ну, скажем, при Олеге,

Неплох языческий, древлянский день,

Замыслен мной тогдашний Коростень.

Ну, мало ль тем? Гляжу в седые дали:

Уютно для пера, спокойно для души.

Поближе все давно уж расхватили,—
Екатерину, как ни потроши,
Описана вплоть до ночных приборов!
Захвачен Пугачев, и Разин, и Суворов,
Марина Мнишек, польские пищали,—
Искать сюжет приходится в глуши.
— А вы б сегодняшнюю тему взяли!
— А риск какой? Попробуй, напиши!
Хотя эпоха красками волнует,—
Живые люди, мысли и слова,—
Ответственность за тему какова?!
А тут прикроешься романом—
И не дует...

П. П О Э Т

— Строчу о том, о чем строчат другие:
Поэмки теплые, недорогие,
И декламирую о том, о сем.
— А в сущности?
— А в сущности могу я обо всем.
Стихом любим, как видите, владея,
Любой вам факт зарифмовать готов.
Девиз: две книги в год по десяти листов.
— Где ж ваша тема, кровь, заветная идея?
— Какая кровь? Ах, что за ахиня!
Бескровно воспою эпохи нашей гром,
Пишу, как многие,—читателя не грея,—
Автоматическим пером.

В ГОСТЯХ У КРИТИКОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРИТИК

КРИТИКАМ-ШТАМПОВЩИКАМ

Как пользоваться прибором

Выпущенный нашей творческой лабораторией оригинальный прибор-набор „Универсальный критик“, абсолютно не требуя в работе ни мыслей, ни знаний, в то же время легко заменяет собой от десяти до двенадцати тонн критических статей.

Каждый, желающий написать развернутую критическую статью или отзыв, может сделать это, не теряя ни минуты драгоценного времени, пользуясь исключительно нашими общедоступными штампами „Универсальный критик“.

Быстро! Дешево! Доступно! Богатый выбор!

Следует только в соответствующих, отмеченных пунктиром местах проставлять издательство, фамилию автора, род, название произведения и некоторые детали.

Для лучшего освоения прибора даем все четыре штампа в действии на конкретном примере.

ШТАМП I. СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ

Иван Кукушкин — начинающий автор

Издательство Худ. литература выпустило первую книгу роман молодого автора Кукушкина „Пшеница растет“. Следует с самого начала предостеречь молодого небесталантливого автора от тех пороков, которые в огромном количестве имеются в обнаженном виде в его „Пшенице“.

Это — отсутствие творческого лица, творческого нюха, слуха, взора, собственной интонации и мироощущения.

Ничему не веришь: ни Васе-трактористу, ни сторожу Никодиму, ни любви нарядчицы Маши к завсельпо Сергею.

Книга получилась очень сырая. Многие страницы поражают своей полной беспомощностью.

Приходится поражаться, как могло издательство выпустить этот ученический роман, оказав этим автору медвежью услугу.

Все же выпуск книги следует приветствовать.

ШТАМП П. МАНЕВРИРУЮЩИЙ

Иван Кукушкин — ведущий писатель

В последнем номере „Вечерней звезды“ напечатана 16-я часть романа Кукушкина „Пшеница цветет“. От части к части автор заметно растет, прорастая в растущего мастера, радующего своим творческим ростом.

Кукушкин вплотную овладевает своей темой. Лепка образов и воздух среды стали весомее, осязатее.

Сюжет, не в пример предыдущим частям, крепко сбит в единый стержневой стык. Вещь держится и стоит.

При всем том отдельные творческие удачи писателя компенсируются рядом больших и решающих неудач писателя в целом.

Удачно показаны: изба сельсовета, Вася-тракторист, сторож Никодим, сцена опьянения и т. д.

Неудачно показаны: звездная ночь, любовь к завсельпо Сергею, заправка трактора горючим и т. д.

В итоге не ощущаешь целого: все рассыпчато, все невесомо. Не веришь в любовь нарядчицы Маши. Сущность тракториста не вскрыта до конца. Сельпо остается деталью и повисает в воздухе.

Вещь не стоит, она разваливается.

И все же *„Пшеница цветет“*, являясь решительной творческой неудачей автора, знаменует дальнейший углубленный творческий рост писателя, будучи именно той волнующей знаменательной творческой удачей писателя, не удавшейся ему в целом, которая заставляет ждать от него в будущем новых и волнующих неудачных удач.

ШТАМП III. РАВНОДУШНЫЙ

Иван Кукушкин — в тени

Недавно вышедшая книга Кукушкина *„Пшеница цветет“* ничего не прибавляет и не убавляет в творческом багаже автора, в то же время оставаясь на уровне. В книге наряду с рядом хороших мест (*звездная ночь, сельсовет, сельпо*) есть и ряд плохих (*Вася, Маша, Сергей, Никодим*). Местами автор рассказывает, не показывая, местами показывает, не рассказывая, местами скользит по поверхности.

Иллюстрации приемлемы. Бумага приличная. Цена, если учесть объем, переплет и супер-обложку, недорогая.

ШТАМП IV. ВОСТОРЖЕННЫЙ „ВЗАХЛЁБ“

Иван Кукушкин поднимается на щит

Со времени Гете, Шекспира и Пушкина не появлялось за последнее время на литературном фронте произведения более яркого, более насыщенного, чем роман *„Пшеница цветет“* Кукушкина.

Автор в своей героине скромной нарядчице Маше кладет мощное начало новому эпосу и новой лирике, оставаясь реалистом до мозга костей и создавая классическую прозу, местами напоминающую прозу великих гениев XIX века от Пушкина до Толстого (Льва).

Взяв все лучшее от классиков, автор нашел золотой ключ к людям нашей эпохи и с потря-

сающей силой запечатлел наше сегоднѣ в монументальных образах *звездной ночи, нарядчицы Маша, тракториста Васи и завселемъ Сергея.*

Умно! Проникновенно!! Талантливо!!! Гениально!!!!

Вот те скромные слова, которые едва ли способны выразить все огромное, еще до конца не осознанное впечатление от романа.

„Пшеница цветет“ несомненно входит и уже вошла в сокровищницу мировых шедевров литературы, наравне с „Дон-Кихотом“, „Фаустом“ и „Королем Лиром“.

ГИБЕЛЬ КЛЕЩЕЕВА

Из письма критика

Дорогой друг!

Узнай последнюю новость: я положил перо. Надеюсь надолго, если не навсегда.

Жизнь и деятельность критика моего плана стала совершенно невыносимой.

Как тебе хорошо известно, долгие годы я дышал полной грудью и усиленно печатал мои стихи в „Сумбурном критике“ и во „Внелитературном охамлении“.

Мне было все ясно. Любое художественное произведение я спокойно препарировал пером у себя на письменном столе, вскрывая нутро и потроша внутренности писателя.

Не стоило большого труда, вскрыв и уяснив, найти точное место книги в излюбленном мною ассортименте:

1. Книга объективно-клеветническая.
2. Книга субъективно-клеветническая.
3. Книга—честная неудача писателя.

Работая долгие годы, я добился высокой техники оценки на ходу, выполняя план на 200—300%, давая в вечер от 5 до 7 развернутых „ярлыко-ста-

тей“. И вдруг в один прекрасный день, когда я принес в редакцию оригинально сделанную рецензию, в которой очередной роман был назван „субъективно-объективно-клеветнической вещью на базе честной неудачи писателя“, мне вернули статью и предложили написать заново и по существу.

Потрясенный, я вышел из редакции и стал присматриваться к критической работе, от которой за долгие годы рецензирования совершенно отстал.

Оказывается, некоторые критики по декадам просиживали над одним тощим романом, тщательно и даже любовно разбирая каждую строчку писателя, некоторые из них доходили до чудовищного извращения задач критики и не только хвалили отдельные куски той или иной книги, но и всю книгу в целом (?!?!).

Я попытался работать по-новому, пробежал очередной роман, взял перо, придвинул бумагу— и моя рука против воли уже бойко вывела заглавие статьи „Честная неудача или объективное клеветничество?“. Тут я понял, что я конченный критик, и положил перо. Предомной только одна дорога: устроиться дежурным штатным рецензентом одного из издательств.

Жму руку.

Твой Клещев.

В ГОСТЯХ У РЕДАКТОРОВ

„ГУМАНИСТЫ“

Редколлегия толстого журнала была в сборе.

— Ну что ж, начнем,—вяло сказал редактор и вздохнул.

Секретарь вынул список произведений, имеющих в портфеле редакции.

Редактор потянул было список к себе, но внезапно раздумал. Протянутая рука возвратилась в исходное положение.

— Ну, что у нас к ближайшему номеру?

— Эсхил Айсберг, „Поцелуй в тайге“,—принято старой редколлегией и оплачено,—весело сказал секретарь и, выудив из папки объемистую новеллу, потряс ею в воздухе.

— Все читали „Поцелуй в тайге“?—оживился редактор.

— Все,—вздохнула редколлегия.

— Ну как?—спросил редактор.

— Мда-а...—сказал маститый прозаик, задумчиво размешивая сахар в стакане,—шедевром и не пахнет, но печатать можно...

— Поцелуй как поцелуй,—промямлил лирик, лениво потянувшись за кексом.—Это не совсем бездарно. С натяжкой можно дать...

— Ну что ж,—заметил критик,—все зависит от разреза. В каком разрезе рассматривать. Если в разрезе Гоголя или, скажем, Бальзака, то даже

редакционная корзина будет слишком большой наградой для писателя, но если не отталкиваться от гигантов прозы, а просто говорить о данной вещи, то следует сказать, что вещь определенно недожата, недовыпечена, не ужата и не собрана, однако все же в ней есть кое-какие творческие наметки; правда, все это изложено не ахти каким языком, есть вопиющие срывы, но, откровенно говоря, жаль парня. Который раз мы откладываем решение?!

— Шестнадцатый раз!—бодро откликнулся секретарь и снова помахал новеллой в воздухе.

— Надо что-то сделать,—мрачно сказал редактор.—Я этого Айсберга уже видеть больше не могу: ходит и ходит. Надо было бы сразу отказать и вернуть вещь...

— Мда-а,—сказал прозаик,—теперь как-то неловко: два с половиной года прошло... Писатель за это время вырос...

— Еще бы,—согласился лирик, прожевывая кекс,—еще как вырос!.. Надо быть чутким, товарищи,—чорт с ним, тиснем на этот раз, нельзя же дольше мучить человека, тем более что это не окончательно плохо... Ваше мнение, Фома Семеныч?

— Ну что ж...—сказал критик,—если не пытаться отталкиваться от Флобера или, скажем, от Хэмингуэя, можно печатать. Это не брильянт, конечно, но и не безнадежная мура!.. И к тому же учтите два с половиной года!

— Как редактор? Ваше мнение, Сергей Сергеевич?

Члены редколлегии уставились на редактора.

— Дрянь, абсолютная дрянь,—твердо сказал редактор.—Но давайте дадим. Жаль парня. Ходит и ходит. Я уже видеть его не могу. Ну, что у нас дальше?

Секретарь проворно влез в папку и выловил следующую рукопись.

— Бубенцов-Завалдайский, „Профили прошлого“. Принято, потом отвергнуто, снова принято и снова отвергнуто. Ставьте на редколлегию.

— Вот тоже наказание, — вздохнул редактор. — Одиннадцатый раз откладываем решение. Я уже разучился говорить по телефону. Боюсь телефона. Не подхожу ни под каким видом, — Бубенцов снится. Все читали?

— Мда-а, — сказал прозаик, — серо, бледно, сыро, маломощно как-то... Вещь почти на грани прострации... Но, конечно, можно дать в крайнем случае... Это бездарно, но не страшно.

— Ну что ж, — промычал критик, — хотя здесь не видно ни профиля, ни фаса, ни стиля, ни жанра, но, откровенно говоря, жаль парня...

— Какой он парень? — загрохотал лирик. — Вы его видали? Ему за шестьдесят! Удивительно въедливый старикашка!

— Ну что ж, — обиделся критик, — тем более я настаиваю на моей концепции: надо пожалеть его седины... Это все же не безнадежно, перед нами не психопат и не графоман... Это всего-навсего бездарно... И только.

— Я предлагаю дать „Профили прошлого“. Дело идет к лету. Съедят.

— Ладно, дадим, — безнадежно соглашается редактор, — но чтоб я больше его не видел! Что у нас еще?

— Артемий Сидорчук, „Сизые зори“. Двенадцатый раз откладывается. — Секретарь помахал тощей тетрадкой.

— Мда-а... — сказал прозаик, — это далеко не шедевр, но, откровенно говоря, жаль человека...

Заседание продолжалось.

РЕДКОЕ ЧУТЬЕ

Необыкновенное происшествие

Инкогнито проклятое!

Н. Гоголь.

Три кабинета. Стулья и столы,
Над дверью—арка на манер портала,—
Литературные парят орлы
В редакции толстого журнала.

Блится здесь талантов оперенье.
Знакомы все. Журнал идет на лад:
Ведущие несут свои творенья,
А критика—очередной „обклад“.

И вдруг, сломав вещей покойный ход,
Влетает с радостью, с улыбкой неуместной
Какой-то юноша безвестный—
И подает ночей бессонных „плод“.

Редактор морщится:
— Роман? Оставьте...
— Зайти?
— Пожалуйста, зайдите как-нибудь.

Есть мужество не только в стратонавте,—
И здесь смельчак судьбе подставил грудь.
Прошло два месяца—и в кабинет,
Представьте, юноша явился снова:
— Как рукопись моя?

Весьма сурово
Осмотрен был и услышал в ответ:
— Вещь ваша не пойдет... Есть кое-что,
Но чересчур общо... Не чувствую просвета...
Нам надо б это, а у вас не то,
Вот если б было то, к тому ж и это...

Тут новичок не выдержал и сдался:
— Ведущий написал роман тайком,
А я, я лишь принес...
Редактор рассмеялся:
— Ну и шутник!
Чутьем своим влеком,
Я сразу раскусил, что здесь есть то,
Стихийное „не то“, к тому ж и это...
Я почерк творческий прозаика, поэта
Узнаю вмиг, почую, как никто!—
Редактор подпустил слезу во взоре:
— Прошу вас передать: роман—в наборе!

В ГОСТЯХ У ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ

„КУРОЧКА-РЯБА“

Краткий вариант

Литературный комментарий и квадратные скобки — проф. Серобуромалиновского. Птицеводческий комментарий — доцента Петухова. Вводная статья — академика Фольклоркина.

АКАДЕМИК ФОЛЬКЛОРКИН

„КУРОЧКА-РЯБА“ И ЕЕ КОРНИ

Исследователи второй половины XIX века считали, что сюжет „Курочка-Ряба“ явно древнеперсидского происхождения. Так, немецкий куро-ряболог Алоиз Бунке указывал на то, что куриные яйца в окаменелом состоянии были найдены еще при раскопках в Персии и были отнесены к VII веку до нашей эры. Но наука движется вперед, — в начале XX века французский куро-рябовед Бертран де Пуату открыл, что „Курочка-Ряба“ — явно старофранцузского происхождения. Пуату нашел в песнях труверов XII века слово „курица“ („roule“), упоминаемое в разных формах — от „цыпленка“ до „мокрой“ курицы.

Однако русский фольклорист Селищев-Нетово, собирая похоронные „заплачки“ в юго-восточном углу Онежского озера, обнаружил там обилье рябых кур, что дает ему законный повод утвер-

ждать об исконно древнерусском происхождении сказки, или, точнее, сказообразной притчи — „Курочка-Ряба“.

Современная научная мысль приходит к выводу, что „Курочка-Ряба“ является культурным достоянием всего мира, так как главные герои сказки-притчи — „дед да баба“ — присущи всем без исключения народам.

Птицеводческий комментарий в связной статье дан доцентом Петуховым.

Сокращенный текст „Курочка-Ряба“ заново прочтен, сверен, выверен и перепроверен проф. Серобуромалиновским. Ему же принадлежат литературный комментарий и квадратные скобки.

ДОЦЕНТ ПЕТУХОВ

К ВОПРОСУ О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ „РЯБЫХ КУРАХ“

Предлагаемый вниманию читателя сюжет сказки „Курочка-Ряба“ представляет значительный интерес с точки зрения современного куроведения вообще и курорябологии в частности.

Как известно, в распространенном варианте сказки курочка-ряба сносит яичко не простое, а золотое.

Яйценосность рябых кур не на много ниже белой и черной пород, значительно все же уступая по выходу яйцепродукции плимутрокам, бельгийцам и пр.

Сказка имеет в виду яичко не простое, а золотое. Золотистая окраска яичной скорлупы в основном определяется калорийностью зернового и прочего корма, который поедает та или иная курица.

Очевидно, курочка-ряба поела в большом количестве в птицеводческом индивидуальном хо-

зьяйстве деда и бабы именно такие зерновые корма и пищевые отходы, которые определили наиболее золотистую окраску яйца, принятого неопытными птицеводами за золотое.

К сожалению, отсутствие научных химических анализов зернокормов той эпохи не дает нам возможности установить, что именно клевала курочка-ряба. Однако следует указать, что народная мудрость удачно и тонко подметила основное в жизни курочки-рябы, а именно—факт снесения ею яйца. За недостатком места мы ограничимся этими краткими замечаниями.

„Курочка-Ряба“

Жил¹[и] был²[и] дед³ да⁴ баба⁵ [6.] Была⁷ у⁸ них⁹ курочка¹⁰ ряба¹¹“.

1. Жил[и]—прошедшее время от жить.

2. Был[и]—излюбленная народом глагольная форма. Сравни: быть, былина, небылица, небывальщина.

Квадратные скобки указывают на то, что есть разночтение: „жил был“.

3. Дед—семейное видовое понятие. Обычно—седой старик, отец своего сына или дочери и чей-нибудь дед при наличии внуков или внучек. Последние необязательны. Слово бытует в разных „подформах“: дедуся, дедка, дедушка, дид (украинский) и т. д.

4. Да—здесь не утверждение факта, а лишь связующее звено между дедом и бабой.

5. Баба—здесь не печенье из сладкого теста с изюмом и не женщина вообще, а именно старуха, жена деда.

Баба также бытует в языке в разных видах как то: бабка, бабуся, бабушка, бабусенця (украинская) и т. д.

Слово „баба“, написанное раздельно—„ба, ба“,—теряет свой первоначальный смысл старухи и превращается в простое удивление. См. у Грибоедова: „Ба, знакомые все лица!“

6. Точка—знак препинания после определения героев сказки.

Взята в квадратные скобки, так как есть серьезное предположение, что здесь не исключена и запятая.

7. Была—то есть она, курочка-ряба.

8. У—характерная краткая форма народной речи.

9. Них—имеются в виду они, т. е., по всей вероятности, те же дед да баба, что и в начале сказки.

10. Курочка—ласкательное имя куры или курицы.

Народ любит наделять домашнюю птицу ласкательными именами (куренок, куреночек, хохлатка и т. п.). Наоборот, „курицын сын“—вульгарно-разговорный языковой признак, равно как и „куриная морда“. Последняя удачно использована современной художественной литературой (М. Зощенко).

11. Ряба—меткая характеристика куриной окраски. Не серая, не белая, а именно рябая.

В ГОСТЯХ У ИЗДАТЕЛЕЙ

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

*Речь директора издательства „Недоиздат“
на собрании писателей*

Товарищи!

Перспективы и возможности осуществления и выполнения грядущего плана поистине необычайны.

Постараюсь краткими, хотя и грубыми мазками набросать то грандиозное полотно, которое в ближайшем будущем замаячит пред нами.

По тематическому разделу „Чуткость“ мы имеем как минимум 40 000 человеко-оттисков, из коих уже в портфеле—17. На раздел „Льнотеребление и быт“ будет затрачено не менее 15 000 писателе-часов и минут, с выходом высококачественной продукции с коэффициентом 0,1.

Великолепно обстоят дела с разделом „Женщина в трикотажных артелях“; здесь мы имеем договор на 10 000 романо-страниц с продолжением в будущем году.

Стихийно растет раздел „Предисторический роман и новелла“, где мы уже располагаем от 50 000 до 100 000 человеко-глав, не считая оригинало-томов, откуда они заимствованы.

Радуют и следующие разделы: „Жилищный психологический роман“ и „Санитарная бытовая повесть“. Мы обеспечили себя 5000 договороромано-новелло-часами. Несколько хуже обстоит

дело с разделом „Изживания и переживания“, где запроектировано 10 000 человеко-томов и томиков, из коих реальных 4,5.

В отношении подписных изданий могу со всей решительностью заявить, что мы выпустим в будущем году подряд 65-й, 7-й и 43-й томы серии романов „Люди и домашние животные“.

Выпуск этой серии слегка задерживается по вине переплетологов и примечанилистов.

Что же касается выпуска просто хороших книг по основным, ведущим темам эпохи, то за отсутствием точных данных издательство ничего определенного сказать не может.

В ГОСТЯХ У ПЕРЕВОДЧИКОВ

АННА РАДЛОВА ПЕРЕВОДЫ ШЕКСПИРА

I. ГАМЛЕТ

Быть или не быть?
Вот, елки-палки, вопрос ядреный!
Сдохнуть ли от рока,
Иль крепко суку взять судьбу за жабры,
Чтоб затряслись у ней поджилки?
Скапуться... Каюк...
С катушек прочь! Итак, последний дрых—
И амба! Крест...
Сыграть мне, значит, в ящик,
Дать дуба... Факт!
Такой конец фартовый
Мне подходящий... Околеть... Дух вон!
.....

Офелия, девчонка, помяни
Грешки мои по благу хоть в молитве!

II. КОРОЛЬ ЛИБ

Злись, ветер, сволочной, собачий пес!
Эй, хлябь воды!
Катись ты ураганом,
Залей к чертям ты флюгера всех башен,
Вы, серные, блудливые огни,

Вы, прихвостни громовых сучьих стрел,
Бандюги крепкие,
Катитесь прямо
Вы на башку мою седую!
Гром небесный,
Ты, лысый чорт, разбей природу всю,
Ты псу под хвост швырни весь шар земной
И разбросай собачьи семена,
Родящие ублюдков в черном блюде!

В ГОСТЯХ У ПЕДАГОГОВ

КРАТКАЯ ПАМЯТКА ЛИТЕРАТУРЫ

Составили: Иванов, Сидоров, Петров и Семенов

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО НАМ ИЗУЧАТЬ КЛАССИКОВ

Классики прошлого дают нам художественные картины жизни бездельников—помещиков и самодуров, которые занимались бездельем, пьянством и барством в своих имениях.

Только небольшая горсточка дворян-землевладельцев помимо крепостного права занималась также постройкой фабрик и заводов, где эксплуатировала своих крестьян.

В свободные от эксплуатации часы эта горсточка читала книги и занималась литературой.

Из среды этих более или менее терпимых помещиков-дворян и вышли так называемые классики XIX века. Классики писали прозой и стихами, в которых давали художественные картины проклятого прошлого.

Приводим краткие необходимые сведения о важнейших классиках XIX века.

Гоголь Н. В. Мелкопоместный писатель и земледелец на Украине. В своих ранних произведениях дал нам ряд картин помещичьего быта в бывшей Полтавской губернии, с его ленью, склоками и барством.

В образе херсонского помещика Чичикова Гоголь дал образчик торгово-промышленного аван-

тюризма на базе крепнущего капитализма николаевской эпохи. К концу своей жизни Гоголь стал верить в бога, на какой-то почве сжег свою рукопись и умер от недоедания в Москве.

Лермонтов М. Ю. Любимый внук крупнопоместной старухи-дворянки Арсеньевой. Ведя с малых лет рассеянную жизнь барчука, Лермонтов обучался в дворянском пансионе в Москве. В своих стихах он восторгался преимущественно кавказской природой, не вдаваясь глубоко в естественные богатства края и смотря на дикую природу типичными глазами тоскующего дворянина-одиночки, что вполне соответствовало продолжающемуся распаду крупного дворянского землевладения. На 27-м году жизни, подравшись на дуэли с мелкопоместным дворянином Мартыновым, Лермонтов был убит на личной почве (мещанская склока).

Некрасов Н. А. Ярославский помещик и предприниматель (издавал журнал „Современник“), а также и поэт.

Ведя рассеянный дворянский образ жизни (играл в карты по ночам), Некрасов тем не менее в своих стихах выступал на защиту трудящихся.

Пушкин А. С. Гениальный сын старинного дворянина-помещика, оставивший нам в романе „Евгений Онегин“ ряд высокохудожественных картин и образов интимной помещицкой жизни в период становления капитализма на базе замены барщины оброком и дальнейшей пауперизации крестьянства.

В „Пиковой даме“ Пушкину удалось яркими штрихами показать разложение стародворянской семьи, основанной на рабовладельческом хозяйстве, в лице типичной старухи-самодурши, так называемой „Пиковой дамы“. Одновременно в образе Германа дан образ военного чиновника-

разночинца на заре первоначального накопления.

В „Борисе Годунове“ дана картина загнивания боярского общества конца позднего феодализма.

Наконец, в своих лирических стихах и эпиграммах Пушкин в высокохудожественной форме (знаменитый пушкинский стих) воспевал преимущественно женщин своего класса, а также красоты современных ему помещичьих усадеб и интимные переживания их владельцев, к которым он принадлежал сам.

Тургенев И. С. Крупный землевладелец, а также и писатель. Создатель знаменитых помещичьих романов, как то: „Дворянское гнездо“, „Рудин“ и т. п. В своих романах Тургенев талантливо описывал близких ему по духу дворян и дворянскую природу того времени с позиций крупнопоместного либерализма.

Фет А. А. Типичный крепостник эпохи упадка. Впоследствии довольно крупный лирический поэт. Долгие часы помещичьего безделья Фет тратил на писание звучных стихов, в которых воспевал красоты природы среднерусской черноземной полосы, оставаясь в рамках узкого кругозора собственника.

Фет преимущественно описывал свой обширный земельный участок, его травяной и древесный покров, жизнь пернатых („Шопот, робкое дыханье, трели соловья...“ и др.), а также атмосферные явления своего времени („Повиснул дождь, как легкий дым“ и др.).







Идет за ней к критическому льву,
Но лев, за темною охотясь кстати,
Одним движением уверенной руки
В статье писателя рвет тут же на клочки...

ЛЕВ и ВОРОБЕЙ

Случайно воробей в лесу увидел льва,
Чирикает вокруг него на ветке:
— Не зря в него я взгляд направил меткий—
Какая грива!
Верится едва!
Оставлю я в веках след нашего знакомства,—
Дай опишу ее научно для потомства!—
Едва лишь царь зверей, окрестностей гроза,
Закрыв усталые свои глаза,
Как воробей—прыг в гриву и с налёту
Весь с головой ушел в работу.
— Какие жесткие, тугие волосочки!
И что за густота, какая благодать!
Их надо все, без всякой проволоочки,
Хотя бы в год научно сосчитать.
Ах, что за ширь! Какая перспектива!
Мне львиная досталась грива!
Не брошу дела, хоть убей,
За львом порхать я буду горделиво!—
Так пресерьезный воробей
(Он был в лесу каким-то аспирантом)
Всю гриву подсчитал с талантом
И через пару лет
Научный труд свой точно выдал в свет.

□

Признаюсь, мне иные пушкинисты—
„Кляксологи“ и „примечанилисты“,—
Пустые мелочи годами теребя,
Научного напоминают воробья...

ЛЕВ-СОЧИНИТЕЛЬ

Однажды некий зверь, лесов невзрачный
житель,

Слух по лесу пустил о том,
Что царь зверей—первейший сочинитель.
Строчит налево и направо,
Что лично видел он в лесу густом,
Как лев писал то лапой, то хвостом...
Тут звери-холуи вмиг завопили: „Браво!
Какой талант у льва! Какая слава!
В печать его! В печать! Достоин он того!..“
Средь зайцев-критиков—большое торжество:
— Покритикуем льва с тактическим подходом,
Чтоб критиков... на ужин он не съел,
Царя зверей всего обмажем медом:
„Как в прозе он могуч! Как ярок и как
смел!“

А кролик, тамошний издатель,
Бегом ко льву пустился напрямик:
— Вы—Лев Толстой, вы—истинный писатель,
Дозвольте-с договор, издам-с вас в тот же миг!

.....
Так слава новая ко льву

Явилась наяву,
И только по кустам кой-кто из храбрецов,
Когда маститый лев шел к водопою мимо,
Шептал, что это чушь в конце концов,
Что льва писания читать невыносимо!

□

Литературные лихие псевдо-львы,
Внесенные на крыльях дутой славы,
Себя не узнаете ль вы
И львиные свои писательские нравы?
Иного льва лишь стоит шлепнуть звонко,
Как превратится лев в... бездарного
ягненка...

СОЛОВЕЙ и РОЗА

Пленившись розой, хитрый соловей
Решил в сердцах в тени родных ветвей:
„Довольно щелкать ночью бессловесно,—
Быть может, розе трель не интересна?
Дай я прочту красавице стихи,
Чтоб лепестки свои она тотчас раскрыла...
Конечно, у меня блестящие „верхи“,
Но и в стихах огромнейшая сила!
Меня воспел когда-то старый Фет,
Должно быть, и сейчас нехватки в Фетах
нет...“ —

Так, рассуждая в целом здраво,
Покинул соловей тенистую дубраву
И, миновав поля и реку,
Влетел в ближайшую библиотеку...

.....
Настала ночь. Вспорхнув среди ветвей,
Над розою склонился соловей—
И ну читать лирические строфы
Из сборника „Седых и молодых“...
Бедняжка, он не ждал внезапной катастрофы,
Как вдруг, прочтя Поповой стих,
На розу глянул, удивлен немало.
Красавица, не выдержав... увяла!

□

Наш вывод? Он весьма несложен:
И в выборе стихов будь крайне осторожен.

ПОЭТ и СОЛОВЕЙ

Поэт в саду увидел соловья
И говорит ему:
— Проста как жизнь твоя!
Все ясно—что к чему:

Луна, гнездо и детки,
Садись и пой на ветке,
Задравши клюв
Хоть к небу самому...
Одна лишь трель—
И никаких расходов!
Другое дело—мы,
Писателей порода:
Решил творить? Счастливого пути!
Сначала ты в Дом творчества кати...
Пока поймаешь тему,
Покамест высидишь хоть куцую поэму,
Истратишься, устанешь вдрызг...
А желчь редакторов?!
А рецензентов визг?!
Коль не кусаешься—съедят тебя живьем.
Нет, не сравнишься мне с тобою, соловьем!—
Поэт вздохнул, взглянул на ветку
И, стиснув карандаш, побрел к себе
в беседку...

А соловей
В тени ветвей,
Завороженный лунным светом,
Взмахнув хвостом,
Запел о том,
Как трудно быть поэтом—
И лодырем притом.

ПОЭТ и ДЕВУШКА

Влюбился в девушку поэт,
Он брился, прыскался духами
И, наконец, в расцвете лет
Решил воспеть ее стихами...
Уселся. Взял перо. Уставил в стенку взгляд.
Увы, нейдет к поэту вдохновенье!

Бегут часы... Его напрасно рвенье,
Убил его халтуры терпкий яд:
Неудержимо, радостно и лихо,
„Ура“ рифмуя и „пора“,
Из-под привычного пера
Лишь барабанная лилась шумиха...
Влюбленный встал,
Вздых испустил глубокий
И к полке подошел в счастливый миг:
Нащупав Пушкина среди заветных книг,
В кавычки взял классические строки
И девушке при случае вернул...

□

Подобный факт не в силах не воспеть я:
Так гений лирики поэту чрез столетье
На помощь руку протянул!

УЧЕНЫЙ ПОПУГАЙ

Купил однажды некто попугая,—
Весь в перьях ярких, что за голова!
Усевшись на шесток едва,
Он, голосом пронзительным пугая,
Давай выкрикивать серьезные слова:
„Читайте классиков!“
„Общо!“
„Дожать еще!“
„Не то!“
„Есть кое-что!“
„Учитесь у Шекспира!“
— Подумайте, каков проныра!—
Вскричал хозяин.— Это ж чудеса,
Забыл давно родные он леса,
Лишь от людей уму мог научиться!..
Откуда ты, ученейшая птица?
А ну, поговори еще!

Кто был владелец твой, где жизнь прошла
другая?—

И вот ответ он слышит попугая:

„Читайте классиков!“

„Общо!“

Хозяин наш был человек с талантом:

— Ах, так!—вскричал он сам не свой.—

Владелец прежний твой

Служил, ручаюсь головой,

Литературным консультантом!

□

Коль вот таких советчиков судить,

Скажу, иных в смущенье повергая:

Раз все равно, кто будет суд рядить,—

Литконсультанта в клетку посадить,

А отзывы писать поставить... попугая!

ПЕРО и БУМАГА

Однажды на столе изящное перо

Вступило в спор с соседкою-бумагой:

— Сколь тяжело мне лезть в чернильное
нутро,

Когда рука писателя с отвагой

Меня макает только для того,

Чтоб настрочить, не знаю для кого,

Рассказик серенький иль серую новеллу.

Поверишь ли, буквально дрожь по телу!

Скриплю и ёрзаю в писательской руке,

Ни сердца, ни ума,—так... строчки на-
легке...

— Помилосердствуй, друг, твоя ль судьба
не благо?—

Шурша, ответила перу бумага.—

Ты все же действуешь,

Ты целый день в гоньбе,—

Однако, настрочив один роман негодный
Назад тому двенадцать с лишним лет,
Двенадцать лет он „царствовал“ свободно
И, некий жест усвоив благородный,
Слал в телеграммах пламенный привет:
Но вот однажды бросил взгляд впервые:
Глянь, а за ним и нету никого.
Шагнули далеко иные молодые,
В сердца к читателям пришли слова живые,
А вокруг ведущего—и пусто и мертво...
Ни речь, ни клятвы здесь не всемогущи,—
Читатель *книгу* на весы кладет.
Не всякий „мэтр“, на диспутах орущий,
Что он маститый и ведущий,
Кого-нибудь куда-нибудь ведет...

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

БАСНЯ-СКАЗКА

Однажды драматург столичный
В июльскую крутую ночь,
Дремоты роковой не в силах превозмочь,
Заснул—и
Сон увидел необычный:
На фоне рыцарских доспехов и рапир
Предстал пред ним
Сам Виллиам Шекспир.
— Восторг какой! Какая встреча!!
Приветствую тебя, светило из светил!—
Вскочил хозяин наш
И гостя усадил:
— Великий драматург!
Погодина предтеча!
Не зря пленял ты зрителей сердца,
Хочу спросить тебя, как друга и отца:
Нельзя в наш век тебе не подивиться,—

И бесхозяйственности тоже есть граница!
Что сделал с пьесами?

— Я нес их щедро в мир,—

С достоинством отвечивал Шекспир.

— Клянись тобой, кумиром,

Будь я Шекспиром,

Я б тысячи имел!—

Вскричал тут драмодел.—

Какое б создал я огромное дело!

К примеру, если взять „Отелло“,

Учитывая все, и образы и стиль,

Ты мог бы, дорогой собрат,

Доход умножить во сто крат:

Состряпать скетч, сценарий, водевиль,

Либретто, повесть для ребят, новеллу,—

Возможностей не исчерпать до дна!

А у тебя—трагедия одна!

Ах, шутка ли сказать—„Отелло“!!!

Постой, постой, куда ты, старый друг?—

Но на глазах у драматурга вдруг

Шекспир вскочил и тотчас удалился

В ночную тьму...

□

Как так?—мы спросим.— Почему?

Он от стыда, друзья, сквозь землю про-
валился!

ДИСКУССИЯ НА ПОЛКЕ

Однажды на простой библиотечной полке,
Что сделана была пять лет назад из елки,
Сошлись две книги в поздний час.

— Я с отвращением гляжу на вас:

Как вы такой растрёпою живете?

Не вижу смысла в том,—

Сказал изящный, плотный том

В тисненном и тугом роскошном переплете.—

Ваш вид лишен малейшей красоты,
Вот-вот из вас посыплются листы...
Терплю, терплю, но есть терпенью мера!
Вы рядом поёртите мой дивный переплет:
Он был оранжевый, а стал какой-то серый...
Ведь чистота—здоровия оплот!

— Пойми, мой друг, я не стою ни мига,—
Сказала тут растрепанная книга,—
Я вечно на руках, меня читают все,
Ну где ж мне думать о красе?
И я была такой же важной птицей,
Когда вступала в мир,
Но тысячи прочли мои страницы,
И, к счастью, я зачитана до дыр...
А ты торчишь в своей крышке стильной
Четвертый год без пользы, в стороне,
И зря совсем свой вид, довольно пыльный,
Приписываешь мне...
К чему ты выпятил тисненую манишку?
Нам, книгам, нужен свет, движение, про-
стор... —
Но тут рука схватила с полки книжку,
И прерван был серьезный разговор...

□

Спешим сказать, не потеряв ни мига:
Наружностью не трудно нам блеснуть,
Но переплетом могут обмануть
И человек и книга...

ВРЕДНАЯ ДУША

Поэт с прозаиком шли улицей столичной,
Беседовали, как обычно:
Шла речь у них о том, о сем,
Потолковали обо всем:

Какие тиражи,
Да сколько за издание,
Да что за критика—
Одно страданье!
Вот суд читателя—
Вот это правый суд:
Читатели нас любят и спасут
От злобных выпадов и пересуд...
— Читают вас?
— Да, говорят, запоем!
А вас?
— Хватают книгу с боем!
Но тут прервался милый разговор:
В пространство кинув быстрый взор,
Поэт прозаику сказал престрого:
— Давайте перейдем дорогу!
Идет навстречу неспеша
Библиотекарь—вредная душа!
Не ждите от него ни света, ни привета:
Педант, чудак, при этом очень злой...—
Прозаик подхватил поэта—
И улицу перемахнул стрелой.

□

К чему друзья сбежали так скандально?
Да потому, что знали досконально:
Свершил читатель свой суровый суд—
Прозаика с поэтом не берут...
Какие тут возможны кривотолки?
Четыре года не слезают с полки!

ЗЛОВРЕДНОЕ СВЕТИЛО

Сидел писатель за своим столом,
Светило высилось в зените,—
Писатель шел в романе напролом
И к солнцу творчески подыскивал эпитет:

„Как огненный кадык“ ?
„Как разъяренный бык“ ?
„Как красный шар“ ?
„Как медный лик“ ?
Не выдержав эпитетов, светило
Явилось в комнату и очи ослепило.
Сияние писателя смутило,
Себя он ущипнул, ужель не сон?
Визитом странным крайне потрясен,
Он гостя спросил украдкой:
Мол, чем, светило, вам служить могу?
Вскричало солнце:—Время берегу,
Мне скоро заходить, я буду кратко,
Я в двух словах тебя, мой друг, спрошу:
К чему эпитеты? Я их не выношу!
Они надуманы, и жалки, и убоги;
Заметит их любой читатель строгий,
Кто любит солнце—всяк их отметет...
Ты портишь мой закат,
Ты губишь мой восход
Сравненьями во что бы то ни стало!
Читать я о себе устало—
„Как огненный кадык“,
„Как красный шар“,
„Как медный лик“...
Какой истертый, мертвенный язык!
Писал бы проще: „солнце восходило“...
Торжественнее во сто крат звучит!
Эх ты, литературное светило,
Не рано ль подняли тебя на щит?!—
Светило, повздыхав, за дверью мирно скры-
лось...

Писательское сердце билось,
Писатель в ужасе продрал глаза—
Еще дрожит в глазах его слеза...
— Как хорошо,—сказал, вздымая шторы,—
Что солнце—в небесах и не вступает в споры!

ПИСАТЕЛЬ и ЗАПИСКА.

Писатель на трибуне выступал,
Он слово взял для зычного привета.
И, клятвы пылкие бросая в зал,
Клялся отобразить к весне и то
и это...

Шумели благородные ряды,
Дрожал стакан в писательской деснице,
Писатель выпил полведра воды—
И сам своей поверил небылице.
Но вот, торжественную кончив леть,
Читателям он поклонился низко,
Но лишь успел с достоинством
присесть,

Глянь—на столе лежит записка.
Исписана простым карандашом,
Ехидная, кривая бумажонка
Нахально вопрошает звонко:
„В конфузе, дескать, мы большим,
Десятый раз как в зале сердце бьется—
Десятый раз писатель здесь клянется
И то, и сё, и прочее создать,
Но книг писателя давненько не видать...
Когда, мол, будут? Масса ждать
устала...“

Рука писателя записку мигом смяла,—
Записка пискнула—и испустила дух...
Не просидев минуток двух,
Писатель встал—
И вышел вон из зала...

□

Настойчив стал читательский народ:
Что клятвы пылкие и зычные вещанья!
Раз ты писатель, то шагай вперед
И *книгу* дай нам вместо обещанья!

КЛАССИКИ и КЛАССИКИ

Желая выяснить сомненья до конца,
Читатель молодой спросил отца:
— Скажи-ка, тятя, ведь недаром
Писали классики с огромным жаром,
Работали не покладая рук
Средь треволнений, бед и мук?
Вот в результате, классик—в раме,
И мы награждены двенадцатью томами:
Тургенев, Чехов, Гончаров...
Обилен счет печатных их даров,
А наши классики таких даров не дали.
Так, томик, два...
— Эх ты, малыш, дурная голова!—
Сказал отец.—Раскинь умом вначале:
Писали те,
А эти заседали! —
Отец переборщил, но, коль отбросить шутки,
Так пишут час, а заседают сутки!

ОЖИРЕНЬЕ

Сошлись писатели, друзья с давнишних пор,
И в творческий вступили разговор:
— Новеллкин как?
— Уже построил дачу...
Я чуть не плачу:
Прекраснейший участок упустил.
— Что с Песнопевцевым?
— Светило из светил!
Гордясь своими тиражами,
Занялся садом, гаражами.
— А Стихостонов?
— Вот поэт! На М-1 сменил мотоциклет!
— Строфулю помнишь?
— Как же! Вырос он?

— О да, растёт необычайно:
Ни для кого теперь не тайна—
Всем нам он преподнес сюрприз:
Не написав за год ни слова,
Он рос настойчиво, сурово—
И с форда
Пересел на ЗИС!
— А как роман?
— Роман? Какой?
— Да твой, который значится в анкете?
— Ах, тот? Он на примете;
Хоть в замысле еще, но выльется на совесть.
— А как твоя обещанная повесть?
— Какая повесть?
— Да та, которую сулил ты в интервью?
— Я общий план к июлю разовью...
Всё некогда... то встречи, заседания...
— И у меня...
— Будь жив!
— До скорого свиданья!

□

Спокойно разошлись друзья,
Но нам без вывода нельзя.
Скажу без всякого зазренья:
Где средство взять от ожиренья?
Иной щетинится ежом,
Не пишет годы, но „фигура“.
А глянь — он занят гаражом.
На что ему литература?!

РЕШИТЕЛЬНАЯ МУХА

Не удивит нисколько нас:
Балдеют мухи в знойный час.
И вот одна из них в тумане
Уселась как-то на романе,

Но тотчас же взвилась прочь.
— Ах, что с тобой? — довольно сухо
Знакомая осведомилась муха.
— Ну, знаешь ли, переварить
невмочь, —
Бесцельно просидел писатель брюки.
Тебе признаюсь в простоте:
Уж лучше мигом сгинуть на листе,
Чем долго подыхать от скуки!

□

Коль случай этот — не обман,
Читатель, отгадай-ка: чей роман?

ЩИТ и ПИСАТЕЛЬ

Писатель по пути зашел в музей
И видит —
На стене висит древнейший щит.
Экскурсовод над ухом верещит,
Мол, повнимательней глазей,
Раз ты пришел в музей...
Застыл писатель молча у щита,
Глядит на бронзы потемневший цвет:
— „О, суета сует
И всяческая суета!“
Но кто мне даст на мой вопрос ответ?
Молчат о том древнейшие скрижали:
*Ужели и тогда на щит нас подымали,
Чтоб вскоре с треском сбросить со
щита?!*

□

Когда глядишь на экспонат
И прошлое тебе неясно,
Не философствуй понапрасно,
И не гляди в историю назад!

ТВОРЧЕСКИЙ ИТОГ

Недавно некий имярек,
Маститый в общем человек,
Решив, что всякое писанье благо,
Итог трудам своим подвел немедля за год.
Сомненья сплетников мгновенно он пресек, —
Раскрылись творчества секреты:
Сто тридцать интервью
И двести три анкеты
„Что я пишу и чем дышу?“
В раздумье руку положив на счеты,
Вздыхнул он: — Что же дал еще ты?
Богатый за год был улов:
Приветствий — семь,
Три надмогильных речи,
Пятнадцать вводных слов
И сто четыре „Встречи“!
Пусть я — ни тот и ни другой Толстой,
Но все ж мой год — не творчески пустой!

□

Я мысль в финале разовью:
Была б возможность, этот гений
Одни бы тискал интервью
Взамен собранья сочинений.

ЧИТАТЕЛЬ и КЛАССИКОВЕД

Добычу чуя радостно сналету,
Классиковед передовой,
Завидя классика с седою головой,
Тотчас пустил его в работу.
Он был большой мастак —
И ну кромсать на счастье
Писателя на составные части
И этак разъяснять и так...
Вот, дескать, — спад,

Вот — кризис,
Вот — цветенье,
Черновички, описки, разночтенья,
Вот — пропуски, заметные едва,
Недопрочтенные и буквы и слова...
Так, втиснув классика в пространнейшие
скобки,

Как будто проложив в науку свет,
Издав свой труд классиковед
В обложке, в коже и в коробке.
Спешит читатель молодой
Упитья вновь знакомыми строками,
Но где ж он, классик с бородой?
Где образ мудрости седой?
Растерзан чьими-то руками,
Угас писатель средь статей,
Среди профессорских страстей,
Квадратных скобок, многоточий,
Как бледный луч во мраке ночи...
Читатель в ярости клянет
Коробку, кожу, переплет
И кое-как, смилив одышку,
В библиотеке достает вконец затрепанную
книжку,

Где на обложке мудрый взгляд
Оттиснут... сорок лет назад ..
Вступление в роман, события, окончанье —
Ах, „чистый“ классик что за благодать!
Вот если б общество нам удалось создать
„Охраны классиков от нудных примечаний“!

ЧИТАТЕЛЬ и ВОДА

Твердим мы часто
О вниманье к человеку,
Но вот, на-днях,
Зайдя в библиотеку,

Читатель взял для чтения
Роман,
Который под руку случайно подвернулся.
Но только влез в него —
Едва не захлебнулся...
Пора иные книги
Как-то оградить:
Что стоило его предупредить,
Что, дескать, счастливо доплыть к концу
Под силу лишь
Отличному пловцу?!

□

Оборотясь лицом к Крылову,
Сказать не вредно будет к слову:
— Читатель дорогой!
Не зная в книге броду,
Спроси читавшего,—
Не суйся сразу в воду!

КРИТИК В БЕДЕ

Евг. Петрову

Редактор критику прислал с курьером книгу:
Рецензию просили дать его.
Не указали ничего:
Куда, мол, отнести—к провалу или к сдвигу,
Какое есть у автора родство,
Чей автор кум, чей—сват,
Буквально ничего!
И даден был приказ по случаю такому
Дать отзыв свой тотчас, не выходя из дому.
Бедняга критик взялся за работу.
Терзаем мыслями, буквально взмок от поту.
А что писать — все не поймет никак:
Хвалить?
Хулить?

Как поступить с новинкой?
Послаще написать
Иль пропустить с „кислинкой“?
Он у стола уж третий час балдеет
И чувствует, как находу седеет...
Тут он не выдержал,—
Не написав ни строчки,
Вскочил без памяти в одной сорочке —
И в дверь...
Но только встрепенулся,
Как тотчас, к счастью, проснулся.
На месте—стол, бумажные листы...
Портрет Белинского взирает с высоты,
И зайчик солнечный на стенке веселится.
Ах, что за сон! Какая небылица!

□

Мы ценим критику как ценную науку
И многих критиков помянем здесь добром,
Но часто сон, глядишь, бывает „в руку“,
В ту самую, что ведает пером...

КРИТИК и ПЧЕЛА

В какой-то пригородной зоне
Сладчайший критик возлежал на лоне,
А рядом над цветком, жужжа, вилась
пчела...

— Ну, как дела,
Дитя благой природы? —
Спросил пчелу птенец литературы.—
Нас скоро ли порадуешь медком?
— Уж ты-то с ним почище нас знаком,—
Окрысилась пчела.—
Твою статейку давеча прочла:
„Обштопал“ ты пчелиную породу,—
В одной статье четыре бочки меду!

Ну, прямо злость взяла, —
Промолвила пчела
И критика ужалила с досады...

□

Мы вывод свой немедля сделать рады,
Читатель нас по существу поймет:
Хоть факт описанный — конечно, небылица, —
Пчела таких дискуссий не ведет, —
Мы предложением хотели поделиться:
Оставим в сотах мед, —
В статьях критических он, право, не годится!

ДРАМАТУРГ и ПРОХОЖИЙ

Какой-то драматург, едва закончив пьесу,
Решил свой долгий труд
На зрительский представить суд.
И вот, прохожего завидев на панели,
Немедля пригласил к столу:
— Мол так и так, есть пьесочка в портфеле,
Прошу вас высказать хулу иль похвалу.
Как зритель массовый вы рассудите здраво,
Ведь вы — успех наш, наша слава,
А потому я быстро, налету,
Вам пьесу с радостью прочту...
Итак, какие в драме лица?
Старуха-мать, сын, дочь-девица,
Специалист, жена-певица... —
Прохожий ерзает, глядит на потолок,
Рукою вежливо прикрыв зевок:
Бедняге в кресле что-то не сидится...
Едва лишь пятая пошла страница,
Как зритель массовый, исполнен сил,
Писателя с улыбкою спросил:
— Желаете, без всякой проволоочки
Я пьесу вашу доскажу до точки? —

Писатель — на дыбы: как так?
Идет лишь первый акт?!
— Факт,—отвечает зритель,—
Но все ж прослушать не хотите ль?—
И ну рассказывать (каков талант!),
Кто — добродетельный, кто—диверсант,
Когда — обед, да где заплачет мама,
Где героини упадет слеза,
Да как вся повернется драма...
Осекся драматург и выпучил глаза:
— Ну, знаете, читать вам — не с руки!
— Помилуйте,—сказал прохожий,—
Искусство нам всего дороже,
Но эти пьесы—словно пятаки:
Уж до чего друг с дружкой схожи!
Видали их на сцене сколько раз!
Набили руку вы,
Мы ж наметали глаз,
Нет исключения из правил!..

□

Прохожий встал и дальше путь направил.
— Каков нахал! — воскликнул драматург.—
Попробуй, ублажи подобного повесу! —
И—в тот же день всучил театру пьесу.

ПОРТРЕТ и КОММЕНТАТОР

Однажды некий горе-пушкинист,
Став перед пушкинским портретом,
Сказал при этом:
— Я мог бы речь держать,
Увы, я не оратор,
Я только твой давнишний комментатор.
О, сколько я статейек накропал!
.....
Портрет с гвоздя сорвался и упал.

ДЕДУШКА и ВНУЧЕК

Слышал я, некий дед, предчувствуя кончину,
Как полагается по чину,
Собрал домашних вокруг себя,
Родных, друзей, знакомых близких
И внуку младшему сказал любя:
— Все шалости тебе прощаю,
В сознание ясное завещаю
Дополучить тебе сполна
Четыре тома Щедрина¹
По госиздатовской подписке... —
Скончался дед...
За дедом
Следом,
Трудясь всю жизнь не покладая рук,
Стал дедом внук.
И вот, свою предчувствуя кончину,
Как полагается по чину,
Собрал домашних вокруг себя,
Родных, друзей, знакомых близких
И внуку младшему сказал любя:
— Тебе все шалости прощаю,
В сознание полном завещаю
Дополучить тебе сполна...
Четыре тома Щедрина
По госиздатовской подписке...

СПЕКУЛЯНТ и ЗРИТЕЛЬ

Однажды шустрый драмодел
Скроил поспешно пьесу, —
Он техникой вполне владел, —
И чтоб придать побольше пьесе весу,

¹ По желанию можно заменить другим классиком.

Все темы дня в нее включил
И вот на лаврах опочил.
Идет стряпня его без всякого конфуза
По городам обширного Союза,
В трех актах вьется красный флаг,
И зритель ломится, и на дверях—аншлаг.
Но вот однажды, в вечной жажде славы,
Проплыл в партер наш автор величавый,
Со зрителями сел в одном ряду,
Чтоб все хлопки их были на виду...
Опущен занавес... Сладчайший из
моментов:

Впивает автор гром аплодисментов...
Так вот она, его талантам дань!
Спросил, услыша радостные вздохи:
— Как пьеска? Хороша?
— О, что вы! Пьеса—дрянь,
Мы аплодируем эпохе!

□

Сказать здесь к слову довелось:
Деяг-писателей немало развелось.
Иному рай — халтура.
Он сделает пером два ловких тура —
Глядишь,
Не счесть ни сборов, ни афиш...
Искусством спекулирует неплохо:
— Коль я не вывезу, то вывезет эпоха!

СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР

В семье знакомой мирно рос ребенок,
Предмет забот родителей своих.
Дискуссию над ним вели с пеленок:
Кем будет он?
Чертеж ли, сцена, стих
Пленят его на жизненной дороге?

Увы, талант он выказал убогий:
Нет „искры“ в мальчике...
Довольно тихий нрав...
Слегка картав,
Немного шепеляв,
Но, если знать хотите,
Любил произносить стихи поэм,
Хотя двенадцать букв он в русском
алфавите

Не выговаривал совсем
И голосом своим хороший слух коробил...
Решенье было принято отцом:
„Поскольку ни к чему его не приспособил,
Художественным быть ему чтецом!“
И что б вы думали? Сбылось дерзанье:
Верзила молодой, искусству в наказанье,
Ведом своим отцом,
Художественным сделался чтецом.

□

О бедный зритель, ты же и читатель!
Не зря в тебе протеста крепнет дух:
Когда писателю внимаешь ты „на слух“,
Неузнаваем твой писатель:
В грамматике, в уме и в чувстве
Приходится отказывать ему
Лишь потому,
Что неудачники, в искусстве
С концами не сведя концы,
Идут в чтепы.

ТВОРЕЦ и КОНЕЦ

Случилось — молодой творец
От бремени романом разрешился.
И вот, едва роман лишь появился,
Стал автор наш (каков хитрец!)

Ждать отзыва, рецензии на книгу:
Куда, мол, отнесут — к провалу или к сдвигу,
Погладят ли юнца по голове премило,
Иль головою окунут в чернила,
Чтоб от одной статьи, а может быть, от двух
Он испустил зловредный дух...
Проходит год, другой...
Работая на совесть,
Писатель выпустил еще роман и повесть.
Читатель массовый поднял его на „щит“.
А критика?
А критика молчит.
Прошло лет двадцать... Выйдя в пожилые,
Увидя в зеркале виски свои седые,
Вздыхнул писатель:—Вот уж я и сед...
А отзыва, а критики все нет!..

.....
Так год за годом в творческой тревоге
Прошла вся жизнь. Настал и смертный час.
И, наконец, в теплейшем некрологе
Писатель оценен! Стоял, мол, на дороге
И преждевременно угас...

□

Друзья мои! Не все в рассказе вздорно,
И в вымысле порой есть горькой правды зерна:
Не жди для отзыва плачевного конца, —
При жизни замечай творца!

ТОЛСТЫЙ и ТОНКИЙ

Журналы встретились на столике в читальне, —
Один толстенный был журнал,
Другой был тощ и мал
И вид имел печальный...
— Ну, как дела, спросить я вас посмею? —
Сказал худой.

— Как видишь, я толстею,
Я под счастливой родился звездой:
Во мне романы, и повесть, и новелла,
Стихов с полсотни да пяток статей,
Есть пара очерков, есть сказ не для детей...
— Да, так-то так,—сказал худой несмело,—
Но все ж с тоской гляжу сейчас:
Болезненная полнота у вас.
Скажу вам по секрету:
Беда,
Раздула вас печатная вода!
— Ах, так! — вскричал толстяк.—
Ты тощ лишь потому, что и воды-то нету!

□

Толстенный ты или иной,
Мы скажем с упованием:
Впредь не пленяй нас толщиной,
А только—дарованием!

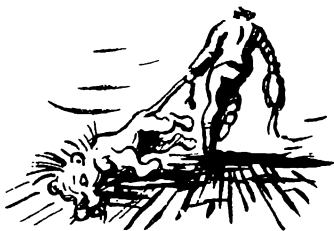
ЗЕРКАЛО и ПРОЗАИК

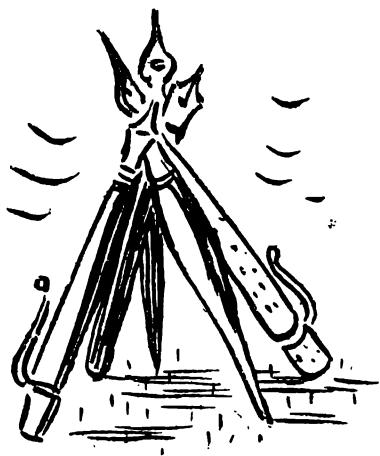
Прозаик в зеркало смотрелся.
Наслушавшись похвал друзей,
Был восхищен наружностью своей,
И вот, когда он вдосталь нагляделся
На гордый профиль
И на фас,
На лоб чеканный и суровый,
Для лавров будущих готовый,
Скривилось зеркало...
О страшный час!
Медальный профиль где?
Где безмятежный фас?
От зеркала прозаик отшатнулся,
Расстроился вконец, расвирепел, надулся,
Душа к стеклу уж боле не лежит.

Швейцар, растяпа, ах, злодей,
Не смей пускать ко мне детей!

□

Наивность детская понятна нам
(Ведь были мы ребятами когда-то):
Без уваженья к старым именам
Ждать новых книг от Детиздата?!





БРАТЯ
писатели







А. БАРТО

МАЛОЛЕТНИЕ СТИШКИ

1. ПРО БУКАШКУ

Принесли мы
С Витей
Чашку.
В чашку
Спрятали
Букашку,
А букашка—
Без рубашки.
Нет рубашки
У букашки.
Нет у бедной
Таракашки
Даже
Простеньких
Трусов!
Только
Парочка усов!!!
Так с усами
И живет.
Вот
И вот!

2. П Р О М А Р Ш

Мы играем,
Отдыхаем,
Мы гуляем,
Мы шагаем—
Руки, ноги, голова.
Раз, два!
Маша, Даша,
Паша, Клаша,
Алексаша и Наташа,
Солнце, воздух и трава...
Раз, два!
Веня, Женя,
Феня, Сеня
И еще другая Феня,
А в руках у нас халва.
Раз, два!

3. П Р О С К О Т И Н К У

Наморщив бровки,
Стоят коровки.
Мычат коровки
Все на лугу:
Му-у-у...
Стоит горушка,
Над ней Пеструшка,
А рядом, глянь-ка,
Буренка Манька...
Едят траву.
Му-у-у...
Вот без пеленок
Лежит ребенок—
Худой теленок,
И потому
Он плачет:
Му-у-у...

4. П Р О Р Ы Б К У

Для грудных

Ай-да рыбка,
Ай-да-да,
А кругом нее—
Вода!

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

ПРОГУЛКА НА СТАДИОН „ДИНАМО“

Встаю, просыпаюсь,
Водой умываюсь,
Тру крепкие зубы
Зубным порошком.
Значит, проснулся,
Значит, очнулся,
Значит, мне любы
И мир и завтрак.
Я белые брюки
С утра
Надеваю,
По улице шумной
Смело иду.
Я вычистил обувь,
Знакомым киваю.
Значит, пылаю,
Значит, желаю,
Значит, дерзаю,
Значит, дойду.
Сел и поехал
Троллейбусом прямо,
Прямо в „Динамо“
Через Москву.
Значит, я еду,
Значит, доеду,

Значит, победу
Возьму наяву.
Я вижу трамваи,
Такси, мотоциклы,
Мосторги, Мостропы,
Метро на пути.
Я проезжаю эпохи и циклы,
Мне хочется петь, танцевать и
цвести.
Стоп! Остановка. Я вылезаю.
Красные майки цветут на лугу.
— Хлебного кружку!—
Беру, выпиваю,—
Значит, умею,
Значит, я смею,
Значит, впиваю,
Значит, могу!

ЛЕОНИД БОРИСОВ

„ПЕРМАНЕНТ“ и ДУША

Сказ-рассказ

Жили-были кустари честные—артельщики во
посаде Леонидо-Борисове. Не хорошо. Не худо.

Люди тихие, пригожие, средние.

Любо-дорого глядеть.

Лица чистые, волосы гладкие, руки о пяти
пальцах, особых примет не имеется.

Сидели, игрушки вырезали истово из дерева
лежачего посереде стола стоячего.

Сидели, вырезали куколок, улыбку сосновую,
слезинку еловую, усмешку березовую...

Плечики, ножки, грудки обтачивали. Стругали-
постругивали.

Все как полагается.

Пришел однажды в артель кустарь неприго-

жий, лицо нечистое, кепка мятая, макинтош драный, из артели парикмахерской.

Заказ дает на бюсты женские резные еловые-сосновые для завивки „перманент на шесть месяцев“.

Отвернулись от соблазна кустари пригожие.

Один не устоял мил человек. Бюстом соблазнился. Стал стругать-постругивать. Вырезал надиво бюст женский еловый-сосновый завивочный „перманент на шесть месяцев“ из ядерной сосны-елочки. Любо-дорого.

Взялся снова за куколок. Ан нет, шалишь: потерял душу чистую кустарную: не та кукла пошла—ни улыбки тебе, ни слезиночки. Не наша улыбка. Враждебная. Такая-сякая березовая...

Встал кустарь, пригорюнился: чего еще автор потребует?

Встал, пошел он по дороженьке.

Глянь, идут люди разные...

Увидал людей, призадумался, стал фигурки вырезать хорошие, чистые, пригожие да с улыбками.

Не сказ получился, а пряник сахарный.

Смотреть любо-дорого...

— А читать...

Н. БРАУН

1. СЛОВО ПОЭТА

На трезвой подушке я вызнал слова.

Я выдал в гортань их.

Я выпер кадык.

Я выжал их к нёбу,

Я выгнал язык,

Я ввысь его вымахнул.

В вымах и в свет.

Я выдохнул воздух—

Но слов этих нет...

II. ВЕРНОСТЬ

Я встал Я мечтал.
Я письмо распечатал.
Я вышел. Я шел. Я шагал впереди.
Я вспомнил, как мальчишкой юным когда-то
Я так же, как ныне, ногами ходил...
Я пел. Я звенел.
Я послал заказное.
Я марки наклеил—
Две марки в углу.
А небо стояло совсем голубое,
И птички на ветке
Нам пели хвалу.

В. ГЕРАСИМОВА

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЗРАЧКИ

Сигизмунд Эпаминондович был обаятельный блондин с бледнобронзовой шевелюрой, с высшим филологическим образованием и мягкими, нежно-сиреневыми зрачками.

Его жена, очаровательная Антонина Павловна, была хрупким, женственным, шатеновым бебе на высоких французских каблучках, с невысокой грудью, в крепдешиновой оболочке, с золотистыми зрачками.

Супруги были явными подхалимами, которых следует беспощадно разоблачать.

Анатолий Эдуардович был пресыщенный стройный эстет высокого роста, с мешочками под сине-серыми глазами, с зелеными зрачками и с надутым Лориганом безвольным интеллигентским подбородком.

Его профессией был крайний цинизм, достойный всяческого разоблачения.

Ефим Карпыч Сидорчук был коренастым, рыхлым отрицательным мещанским типом невысокого роста, с кулацкой начинкой, ждущей своего разоблачения.

Купава Тихоновна была полногрудая сказочная шатенка с густым, былинным меццо-сопрано, вишенно-алыми зрачками и широким женственным напевным станом, за которым скрывалась приспособленка чистой воды, требующая немедленного разоблачения.

В то же время Соня была обаятельным синеглазо-золотоволосым существом, с покатыми плечами и открытой ароматной душой, хрупким существом, недавно вступившим в комсомол. Зрачки у ней были цвета „шанжан“. Соне не хватало глубокого понимания действительности, она делала политические, тактические и моральные ошибки, требующие немедленного разъяснения.

Все эти разноцветные зрачки, нанятые на должности холуев, циников и подхалимов, все вышеизложенные эстеты, мещане и приспособленцы на 119 страницах разговаривали о том, о сем, но внутренне ждали своего разоблачения.

Они наконец действительно были разоблачены честной Соней и ее друзьями и сняты с работы до... новой повести.

ЮРИЙ ГЕРМАН:

МОЯ ЗНАКОМАЯ

Антонинография

Она проснулась, когда было еще темно.

Она полежала немного на спине, поживаясь под одеялом, потом повернулась на бок, потом— на живот, потом— на другой бок и зевнула. Она сладко зевнула один раз, потом другой. Ей стало

легче. Она зевнула в третий раз и стала думать об Иване Ивановиче, о Грише, о Петре Степановиче и о своей жизни.

Было немного грустно, как всегда, когда думается о прошлом.

Гудели гудки, пели сирены, за окном падал снежок.

Ей стало легче, как всегда, когда падает снег.

Она быстро оделась и без чая вышла на улицу.

Была поздняя осень, которая всегда наступает после ранней осени.

Было холодно.

На улицах стояли большие лужи. По обе стороны мостовой стояли дома.

Она шла быстро, смотрелась в лужи, и ей казалось, что она смотрит в свое прошлое. Она шла все быстрее, и ей становилось все лучше, как всегда становится, когда идешь по улице... Ей было приятно сознавать, что она дышит воздухом, что вот идет она, одетая в демисезонное пальто и новые ботинки.

Было радостно ощущать себя в хорошем драповом пальто с пуговицами из пластмассы.

Она улыбнулась и пощупала драп на плече.

Драп был мягкий, ворсистый, чуть подернутый ином.

Ей стало весело, как это всегда бывает, когда думаешь о демисезонном новом пальто.

Она машинально потрогала пуговицы.

Пуговицы были гладкие и холодные.

Она поежилась и спрятала руки в карманы. В карманах рукам было уютно. Карманы были из фланели. Грели руки. Ей стало тепло.

Она пошла быстрее, продолжая думать о Карпе Сигизмундовиче.

Ей казалось, что она не идет, а летит бреющим полетом, едва касаясь земли.

Хотелось улыбаться левым краешком губ и тихонько, про себя, напевать арию Татьяны: „Я вам пишу, чего же боле...“

Она вспомнила, как в прошлом году ходила в театр с Евграфом Кузьмичом и Соней. Пел Печковский, и в антракте она много смеялась и ела эскимо.

Ей стало грустно, как всегда, когда вспоминается какая-нибудь лирическая ария.

Ей тоже захотелось писать письма Евгению Онегину при оплывающих свечах и заливаться слезами над листком почтовой бумаги.

Навстречу ей стали часто попадаться люди с портфелями и серьезным выражением лица, какое всегда бывает, когда ходишь с портфелем.

Ей до боли захотелось чаю с сахаром и сладкой булкой, но надо было зайти в кооператив за картошкой к завтраку.

Она решительно тряхнула головой, как всегда делала, когда принимала решение, и вошла в магазин.

АЛЕКСАНДР ГИТОВИЧ

ПЛАВАНЬЕ В ПУСТЫНЕ

Я, совершенно жутко погибая,
Порядком мутный (это все—с тоски),
По небу плыл, на крыльях огибая
Неисправимо-желтые пески.

Неплохо полетать еще лет тридцать.
И, вспоминая девушку одну,
В какой-нибудь берлоге опуститься,
А там пойти как следует ко дну.

Ишак ревет под нами в злой пустыне
(Как далека Нева от ишака!),
Конечно, небо, как и должно, сине,
Но желт песок (немало здесь песка).

Так постепенно (это ль не нелепость?)
Я философскую теряю нить
И в лирику впадаю, бросив эпос,
Чтоб хоть немного басом поскулить.

Я знаю, что земля кругла, как глобус,
И вертится вокруг своей оси,—
Так почему садишься ты в автобус,
А я лечу, убрав свое шасси?!

Э Н В Е Г О Г О Л Ь И Д Р У Г И Е

Н. Г О Г О Л Ь

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно
и плавно мчит он сквозь леса и горы полные
воды свои. Ни зашелохнет, ни прогремит. Гля-
дишь и не знаешь, идет или не идет его велича-
вая ширина: и чудится, будто весь вылит он из
стекла и будто голубая зеркальная дорога без
меры в ширину, без конца в длину реет и вьется
по зеленому миру.

Ю. О Л Е Ш А

Я бродил вдоль Днепра по блистательному
пути древности и переживал его, как драму сто-
летий.

Гексаметры Гомера золотыми пчелами взвива-
лись над ладьями греков, мерные, как всплески
уключин.

Я не застал Гомера.

Я не был современником Микель-Анджело Буонаротти.

Я не видел, как умирал Леонардо да Винчи.

Хрупкая тень березовой ветки дрожащей параболой ложится на мое лицо, выпуклое, как апельсин.

Мои глазные яблоки впитывают в себя сумерки Днепра... Касательная луны пересекает биссектрису моего взгляда, и они скрещиваются в прохладной глубине хрусталика, легкие, как дыхание истории над полями битвы.

Я молод. Во мне звенит юность мира. Я смотрю на Днепр. Над Днепром вьется и реет дорога. Я иду по дороге, я читаю ее, как поэму. Я срываю цветущий конус цветка и нюхаю сферические тычинки.

Я молод. Прозрачная девушка поднимается с поляны мне навстречу и протягивает руки, звучащие, как струны эоловой арфы. „Чуден Днепр“.

Я не застал Гоголя.

Л. СОБОЛЕВ

Безукоризненно подтянутый, вытянутый в струнку Днепр его величества бесшумно катил свои ослепительные воды сквозь трижды воспетые леса и горы.

Империя генералов, секунд-майоров, поручиков и лейтенантов катила свои мутные воды сквозь горы лжи и леса преступлений.

Если с надраенной до блеска палубы линкора „Двенадцать апостолов“ взглянуть на Днепр, казалось, его высокая торжественная ширина не марширует ни вправо, ни влево, держа команду „шаг на месте“.

Самодержавная Россия, широкозадая романовская бабища, помесь мужицких онучей с Лориганом де Коти, упершись лбом о кабак, а задом в Третье отделение, триста лет шагала на месте, поглощая девятьсот тысяч ведер водки в год.

Поверхность Днепра была отшлифована и отполирована, как миндалевидные ногти белокурой и полногрудой фрекен из гельсингфорского дома свиданий.

Голубая с прошивками зеркальная дорога „из варяг в греки“ вилась и реяла над миром, как андреевский флаг на свежем зюд-весте.

Империя вилась.

Империя реяла над пропастью, голубея драгунским сукном и молодецкато позванивая шпорами.

м. слонимский

Андрюша, двигая попеременно то правой, то левой ногой, приблизился пешком к реке Днепру.

Посмотрев глазами на воду, Андрюша заметил, что Днепр течет вольно и плавно сквозь леса и горы.

Андрюша тут же мысленно решил, что Днепр чуден при тихой погоде и кажется вылитым из стекла.

Но в глубине души Андрюше было совершенно безразлично то обстоятельство, что Днепр был наполнен водой, которая катилась прямо в Черное море.

Андрюше хотелось есть. Свежий речной воздух возбуждал его аппетит.

Но пищи на берегу не было. Одна голая река продолжала течь вниз по течению, имея вид голубой зеркальной дороги.

БАТЬКО ДУЛЯ

Батько Дуля скачет лихо,
Парабеллум—на ремне,
А за батькой тем же дыхом—
Три бандита на коне.
Гоцай, батько! Ночка куца.
Хлоп наганом в жеребца...
Ой, бандюги! Да бер-би-цюца...
Ламцадрица... ца-ца!

Сквира,
Ямполь,
Дон,
Житомир,
Павлоград
И Коростень...
С пули той тот батька помер,
„Дуба дал“ в погожий день...
Погуляли атаманы
В бога, в душу и в отца...
Ой, „малины“, ой, „шалманы“,
Ламцадрица... ца-ца!

НЕСИ МЕНЯ, ЯЗЫК!

Поэма в прозе

Был день. Было небо. Была земля. Была улица.
Была вставочка. Деревянная, с пером на конце.
Был письменный стол. Был писатель. Была тема.
Тема была большая и круглая. Не хотела уходить.
Сидела в голове.

Была голова. Голова была открыта ветру, солнцу,
звездам, шляпе.
Был язык. Мясистый и влажный. Он ворочался
во рту,
Как тюлень на льдине. Ему было жарко.
Человек открыл рот. Он высунул язык. Языку
стало прохладно.
Он был открыт воздуху, людям, жизни.
Человек убрал язык, взял вставочку, сел за
письменный стол.
Стол был четырехугольный. Четыре его ящика
были открыты вещам, бумагам, человеку.
Стол стоял на полу. Был пол, был потолок.
Было легко. Было весело. Слова запрыгали, как
воробьи. Была бумага, квартира, солнце.
Была комната. В комнате — обои.
„Неси меня, язык!“ — воскликнул человек и
понесся по страницам.
Тема была большая. Хватала за сердце. Шуршала
бумага.
Слова получались не как у людей. В каждом
слове — закорючка, в каждой фразе — загогулина.
Было занятно, перо скрипело по бумаге, как
уключина.
Большая тема с трудом продиралась сквозь
закорючки и загогулины. Язык душил тему, но
она не сдавалась языку, она хотела жить, потому
что был день, было солнце, была земля...

ВИКТОР ГУСЕВ

Я и ЭПОХА

Мне тридцать лет, и я живу в Москве,
В трамваях ездывал,
В метро ныряю часто.

Густеют волосы мои на голове,
Писать стихи хочу я лет до полтораста.
Люблю вдыхать я легкими в садах мои
цветы,

Зимой
Люблю я снег,
Любуюсь летом розой,
Люблю троллейбусы мои,
Мои мосты,
Мой стих, застрявший меж стихом и прозой...
Чуть улыбаюсь, гордо сидя за столом.
А на столе дымится каша с братским медом.
Мне тридцать лет. Звеня иду я напролом,
Я буду старше становиться с каждым годом!
Я крепкий, я здоровый совершенно человек,
Могу писать, читать,
Люблю я щи и кашу.
Мне тридцать лет. Меня взрастил мой век,
Я сладостным пером эпоху изукрашу,—
Роятся мысли и желанья в голове.
Люблю Волго-канал, домашний стол и жизнь
простую нашу.
Мне—тридцать лет, и я в моей Москве
Сижусь и ложкой ем мной сваренную кашу...

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

СТИХИ ИЗДАЛЕКА

Я по синим волнам океана
Выплывал, восторгаясь в тиши,
Я глядел на бушлат капитана
И припомнил призыв твой: „Пиши!“
Долетал я до самой Камчатки,
До оленьих застуженных дох,
Где угодно, на каждой площадке
Оставляя лирический вздох.

Я влюблялся в тайгу, в китоловов,
В рыбаков, в матерей, в дочерей,—
Ты же, бровки нахмутив сурово,
Заказного ждала поскорей.
Не волнуйся, приеду к обеду,
Постучусь до вторых петухов,
Только раньше все темы объеду,
Наберу свежий томик стихов...

МИХ ЗОШЕНКО

РАЗНОЦВЕТНАЯ КНИЖКА

Утомленная крестовыми походами история выкомаривает различные штучки.

Она выкомаривает, куриная морда, эти свои загогулины, возвышая одни маловысокохудожественные личности и с легкой усмешкой сбрасывая другие, что неправильно.

Рассмотрим некоторые забавные случаи из частной жизни этих подозрительных исторических субъектов.

Книга первая
ВЕРНОСТЬ

Сидела в своем доисторическом античном жакте некая Пенелопа и чего-то там не то вязала, не то штопала.

Может, она носки штопала своему ненаглядному Одиссею или там салфеточку на письменный стол.

Только была она безуспешная полувдова на распутье.

Ее законный супруг шлялся по заграницам, а женихи, между прочим, напирали.

Они напирали шумной доисторической толпой справа и слева и на древнегреческом языке

объясняли несознательной женщине, что, дескать, всесроки кончены и нечего вола вертеть.

Но Пенелопа—ни в зуб ногой. И осталась доштопывать носки, соблюдая верность своему Одиссею.

Книга вторая
МУЖЕСТВО

Жил такой римский оратор Цицерон. Видный из себя шатен.

Речи произносил. Придет, бывало, в сенат и давай чесать по-латыни.

Однажды встал это он с места, полный такой мужчина с римско-католическим профилем, сам в тоге, а лицо бритое.

Поглядел на своего врага, некоего Катилину, и говорит сочным баритоном:

— До каких пор ты, собачий сын Катилина?.. и т. д.

Однако Катилина, как римский гражданин, ничуть не испугался и говорит:

— Пушай он мне грозит, а я пойду и подниму восстание.

Восстание потом было подавлено, а самого Катилину кокнули. Не выгорело.

Вот что значит мужество.

Книга третья
• ЛЮБОВЬ

Александр Македонский обожал своего жеребца по имени Буцефал. Он берег и лелеял эту легендарную лошадку, воспетую поэтами и животноводами своего времени.

Однажды не то в Персии, не то в Аравии, чорт их разберет, одним словом—в знойной пустыне Буцефал стал понемногу околевать.

Он стал медленно таять, как свеча, среди желтых песков, задумчиво шевеля травоядными губами и прося пить из хозяйских рук.

Испив воды, этот царский жеребчик дрыгнул задними конечностями и сдох.

Великий полководец Александр Филиппович Македонский, совершенно позабыв свою историческую роль, упал на лошадиное брюхо и зарыдал, как дитя.

Он рыдал и плакал, окруженный пышной свитой, и требовал, чтобы его похоронили вместе с дорогим покойником.

С трудом придворные оттащили безутешного царя от падали и закопали Буцефала в песок.

Оправившись, Александр завоевал полмира и еще что-то там такое, точно не припомню.

Он скапутился у себя дома в довольно непожилом возрасте и свалился с катушек не то от гриппа, не то от насморка. Не установлено. Тогда медицина прихрамывала на обе лопатки.

Так проходит любовь.

М. ИЛЬИН

РАССКАЗ О ПЯТИ ПАЛЬЦАХ

Когда-то, давным-давно, люди не умели считать даже по пальцам.

Пальцы появились в глубокой древности, за много лет до нас с вами.

По слухам, первые пальцы появились у легендарных Адама и Евы, первых людей на земле.

Но это не совсем так.

Пальцы существовали с незапамятных времен у животных, например у обезьян.

Уже в древнем, доисторическом Вавилоне ученые бегло считали по пальцам.

Думаете—до ста?

Ошибаетесь! Только до десяти!

В древней Ниневии догадались к пальцам на руках прибавлять и пальцы на ногах; таким образом ассирийские ученые стали уже считать до двадцати. Очень древний султан Эмир-Али-Хан-Ибн-Оглы бегло делал несложное сложение и вычитание, а старый седой ученый грек Эвклид, живший давным-давно в Греции, открыл после бессонных ночей основу таблицы умножения, а именно—что дважды два—четыре. Древнейшая таблица умножения была высечена на так называемом паросском мраморе, а теперь таблицы печатаются на так называемых тетрадках.

В Е Р А И Н Б Е Р

ПУТЕВЫЕ ЯМБЫ

Глава первая
Я ИДУ В ЛЕС

Когда-то здесь гуляли мастодонты,
Бродили ящеры, печаль тая,
А ныне здесь легко гуляю я...
Для мыслей, чувств какие горизонты!
Увидела убитую осу...
А хорошо бы жизнь прожить в лесу!

Глава вторая
Я ЕМ КОМПОТ ИЗ АЙВЫ

Айву едал, быть может, сам Язон,
Кир, Руставели, дочь Мафусаила...
В айве для нас питательная сила,
В ней терпкий вкус и сладостный озон.
Одним компотом целый день живу...
Друзья! Я голосую за айву...

Глава третья
Я ПЬЮ ВИНО

Приедем, нездешнему, легко не
Знать тайну местную—как пьют вино,
А мы сидим на стульях на балконе,
В бочонке нам вино принесено.
Так в бочках радость тот народ хранит.
Как вас, друзья? Меня вино пьянит.

Глава четвертая
Я ПОДНИМАЮСЬ В ГОРУ

Песчаник, известняк, судите сами,
Шпат, мергель, глина—сколько есть пород!
Я в Переделкине, гуляя с псами,
Люблю глядеть на сад и огород.
Но в нашей местности одни пески,
И в недрах наших—замыслов куски.

Глава пятая
Я ИЗУЧАЮ СОТВОРЕНИЕ МИРА

Меня наук волнует торжество
И запах козьего смешного сыра...
Как странно знать о сотворенье мира,
Что не было когда-то ничего
И постепенно все вот так настало...
Болят виски. Я, кажется, устала.

Глава шестая
Я УЕЗЖАЮ ИЗ ГОРОДА

Портплед готов. Вскипает в сердце жалость.
Звучит в портпледe песня „Сулико“.
Вот я пофилософствовала малость—
И на душе становится легко.
Отдам эпохе сладость всю пера,—
И мне писать как следует пора.

Я люблю дороги эти
Наблюдать при лунном свете
Из вагонного купе,
На удобном канаве...

1-й припев

Полуденные и полночные,
Юго-западные и юго-восточные
Железные
Полезные
Очень
Дорожки!
Крепите стальные изящные ножки!!

2-й припев

Грузите пылко, грузите страстно,
И я грузить стихи согласна,
Чтоб по Советской по всей Руси
Эн-Ка-Пе-Эс нам сказал: „Мерси!“

В. КАВЕРИН

ИСПОЛНЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ

1

Молодой медик Тимофеев взял под руку юного Чешихина. Они весело надели пальто, смеясь, влезли в галоши, весело вышли на улицу и на углу проспекта бодро сели в автобус № 2 маршрута Финляндский вокзал—Балтийский вокзал.

Поезд уже отходил в составе десяти вагонов, не считая багажного, но молодые люди, бодро уцепившись за поручни, успели задорно вскочить на последнюю площадку последнего вагона. И поехали в Новый Петергоф кататься на лыжах.

В Новом Петергофе они пришли на лыжную станцию. Кругом была зима. На полях, лугах и деревьях лежал совершенно белый снег.

Тимофеев с приятелем сняли пальто, надели пьексы, стали на лыжи и отправились кататься по живописным окрестностям.

С горы они катились быстро, а на гору — медленно.

Накатавшись и проголодавшись, они вернулись на лыжную станцию, сдали лыжи, надели зимнее пальто и галоши, поехали на вокзал, сели в подошедший поезд и вернулись по железной дороге в Ленинград. И тотчас же сели обедать.

2

Профессор Сучков жил на Васильевском острове и таинственно ненавидел профессора Брандмауэра.

Профессор Брандмауэр жил на Петроградской стороне и в свою очередь таинственно ненавидел профессора Сучкова.

Они десять лет не цитировали друг друга в научных работах.

Узнавший об этом аспирант Тромбонов однажды вечером сидел в профессорской семье за чайным столом и пил чай с сахаром внакладку и с булкой.

Все сидели на стульях вместе с седовласым профессором — мировым именем — и пили чай, прожевывая бутерброды с чайной колбасой. А на улице была зима. Падал с неба снег.

3

Лицо у Тимофеева было широкое, нос курносый, руки грубые, волосы обыкновенные. Рост средний.

Тимофеев мальчиком чуть не умер от голода.

Он родился в Среднем Поволжье, но вырос

и переехал в Ленинград. Говорил мало, молчал много и учился хорошо.

Звенели трамваи. Шли пешеходы. И изредка пробегали собаки.

АННА КАРАВАЕВА

СЫТОСТЬ

Можно расти ввысь, можно—вширь, можно взмывать ясным соколом да в лазоревое поднебесье, можно расти дубом потихоньку, день за днем, можно думать свет-буйной головушкой, можно—сердцем чистым, девичьим, мало ли чего можно...

Так думала Нюра, сидя за бранной скатертью с петухами по алому полю, в просторной избе о четырех углах, сложенной „в лапу“ и крытой добротным тесом.

Нюрина матушка, свет-Наталья Саввишна, с двумя рядами жемчужных зубов и губами, спелыми, как вечерние зори по-над ясной речкой в июльскую страду, сидела эдаким молодежавым дубом с высокой грудью на кленовой скамье, крытой цветастым рядом с разводами, и, держа, как молодое счастье, в растопыренных пальцах с веснушками узорчатое алое с розами блюдо, пила чай с баранками, гуторила про удои богатырские, про рожь-пшеницу заветную...

Матушкина полная грудь под вязаной кофтой колыхалась, как спелая рожь под ветром теплым, ласкающим... А супротив матушки Натальи Саввишны сидела на скамье бабка Алена Дмитриевна, запивала чай цельным молоком, заедала калачом рассыпчатым...

Крякнула бабка Алена:

— Э-эх, разойдись, душа моя наливная, сы-

тая, подай мне, Нюра, ключ от сундука моего любимого!

Сидит бабка, похохатывает грозно-весело, крутыми плечами поводит, пальцами прищелкивает, — открывает сундук, достает добро шерстяное, ядреное...

А кругом бородачи, усачи, добры-молодцы пьют, едят, усмеваются...

Нюрина матушка, раскрасавица, пава-лебедь пышная, председатель колхоза, знатными очами поводит сознательно, — блестит рыжим солнцем медь самоварная, взопрели окрест стола люди добрые, поглаживают бороды шелковые, колхозные, попивают сахар-чай, крикают-калякают про пятое, про десятое...

Свет-Наталья Саввишна, председательша, ручки пухлые, румяные, как пирог из печи вынутый, протянула к дочери, а сама, как маков цвет, раскраснелась:

— Не чуешь ты того, доченька: в жизни мы с тобой настоящие, а в книге маслом мазаны, медом политы, лаком крашены... Вот что сделала с нами свет-буйна головушка Анна Караваяева.

МИХАИЛ КОЗАКОВ

ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...

Роман

КНИГА ПЕРВАЯ

Гранитные шали набережных матушки Екатерины томно обволакивали красавицу ля белль Неву с ее роскошными рококо и барокко. Царственные ступени легко и плавно ниспадали в лоно смуглых вод. Нева Бенкендорфа и Николая I, Пушкина и Гоголя, Столыпина и Витте, Дурново

и Горемыкина катила свои воды мимо сфинксов Аменхотепа XV.

Петербург—гордость генералов и интеллигентных присяжных поверенных, шикарных кокоток и золотушных провизоров—лежал блистающим перламутром на темном бархате истории.

Эрмитаж, Гваренги, Растрелли, Росси, Трезини, Фельдт, Монферран, Тома де Томон, Захаров, Воронихин... Заря великодержавного романтизма пополам с сервилизмом на костях рабов.

Загадочный сфинкс на болоте в гвардейском мундире с аксельбантами... Тени шпицрутенов на фоне ресторана „Контан“ с его котлетами деволяй и пленительным смычком румынского скрипача Гулеско!

Член Государственной думы Павел Львович Краснобаев, симпатичный, видный интеллигент с каштановой бородой и карими теплыми глазами, ехал на вокзал на извозчике и думал:

„Вот она, Россия... Загадочная страна дворян, чиновников и мужиков... Нужен ли он, Краснобаев, России?“

Было приятно думать о себе, сидя в уютном экипаже после сытного, но не тяжелого обеда (Сонечка чудесно готовит осетрину англез), чувствовать себя умным, интеллигентным и талантливым членом Государственной думы и нежным отцом семейства. Хотелось скорее сесть в поезд, в купе международного вагона, и говорить, говорить без конца о доме, о людях, о свободе, о конституции...

Поезд тронулся. За окном побежала Россия, Россия уездов, исправников, жандармов, зуботычин, беременных баб и угрюмых мужиков...

Солнце клонилось к закату.

КНИГА ВТОРАЯ

Глава 27-я

... Незвестный рыжий мужчина в кепке и толстовке навывпуск на цыпочках подошел к таинственному ларьку на рышке и три раза стукнул палкой о рундук.

Показалась неизвестная седая голова.

— Ах, это вы, Иван Иванович?

— Тсс...

Глава 31-я

... Красноносый полковник с протезом нервно прогуливался по скверу, лихорадочно поглядывая на неоспешенные окна третьего этажа. Вдруг в окне показалась трехлинейная керосиновая лампочка. Полковник бросился в парадную, в два прыжка достиг третьего этажа, открыл французским ключом дверь и...

Глава 34-я

— Садитесь,— сказала прелестная молодая женщина и закурила сигаретку.

Миша закашлялся в ароматном дыме. На парадной позвонили три раза. Женщина вздрогнула и исчезла в передней.

Через минуту она вернулась и вручила Мише письмо в загадочном продолговатом конверте без марки к неизвестному человеку в зеленой шляпе с пером, который должен был встретить Мишу на полавке у Летнего сада.

Глава 46-я

— В России творится чорт знает что,— сказал толстобородый сухощавому и ударил кулаком по столу.— Эгот прохвост Штюрмер...

— Так, так, поговори у меня,— сладострастно прошептал сидящий по соседству в мужской уборной сотрудник III Отделения Филимон Карпуша, жадно прислушиваясь и стенографируя слова толстобородого.— Пипль-попль, голубок. Заведу на тебя картотеку.

Глава 48-я

На полавке было шумно и весело. Совершенно неизвестный человек с подозрительными рыжими бакенбардами таинственно ел салат оливье, а его спутница ковыряла котлету марешаль, соус пикан и загадочно смотрела на воду. Было поздно. Таинственная пара расплатилась и исчезла. Мужчина тихо сказал своей спутнице:

— Третьим переулком до перекрестка. Вторая форточка от угла наискосок. Стучать два раза громко, один раз тихо. Спроси, здесь ли продаются соски для грудных.

Глава 55-я

... По хвойному финскому лесу пробирался неизвестный в морщинах, с желтым фибровым чемоданом. Он остановился на холмике, потянул острым носом воздух и быстро пошел налево, конспирируясь на ходу.

Глава 65-я

Павел Львович Краснобаев великолепно выспался, выпил кофе, съел калач со сливочным маслом и теперь смотрел на дочь свою Варюшу, наслаждаясь ее молодостью и невинностью.

— Куреночек мой, цыпка ты моя!..

Было приятно сознавать себя знаменитым членом Государственной думы, чувствовать свое боль-

шое волосатое тело в просторных пикейных брюках и рубашке „апаш“, свои большие удобные ноги в простых сандалиях. Хотелось думать о России, о конституции, о свободе, об ответственном министерстве.

Глава 75-я

Из подворотни дома № 49-б в Пятисобащем переулке вышло двое неизвестных с большим сундуком. Они сели на извозчика и поехали налево. Один был высокий и рябой, другой низкий и косоватый.

Как только двое неизвестных скрылись в соседнем переулке, от стены отделился третий неизвестный и медленно пополз в подворотню.

БОРИС ЛИХАРЕВ

1. СЧАСТЛИВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Все—мое, что ни вижу:
Голубая краса,
Солнце, звезды и зори,
Воздух, свет, небеса.
Носом свежесть вдыхаю —
Выдыхаю назад,
Захожу и гуляю
В незнакомый мне сад.
Все—мое! Золотые
И иные цвета,
И колонны седые,
И стихов красота.
Все—мое! Автопарки,
Цепь трамваев, цветы,
Всевозможные арки
И, конечно, мосты.

Я не злоблюсь, как Каин,
Не скуплюсь, как Кашей,—
Я—счастливый хозяин
Всем известных вещей.

II. СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ЛИРИКА

Экзотический колхоз

Дувал.
Цветы.
Платаны.
Овцы.
Розы
И на огнях
Горячих—
Шашлыки.
Гранаты.
Дыни.
Виноградник.
Козы.
И кое-где
Дымятся кизяки.
Изюм и рис.
Плов.
Жирные бараны.
Орех.
Кизил.
Зеленый чай.
Всерьез.
Чалма
И тьма.
Лиловые туманы.
Из этих
Слов
Составил
Я
Колхоз.

МУСКУЛИСТАЯ ЛИРИКА

Я пел в оранжевой ночи—
на нефтевозе,
Ты у желонки
стала в Кара-бу.
Твои уста,
дымясь на паровозе,
Мне прогудели
жаркую судьбу.
Ярился я в песках,
под звон гитары.
Вгрызалась в руды
на разведке ты.
И облаков
шашлычные отары
Последний луч
упрятали в кусты.
Твои зрачки
пылали в пляске ветра,
Гудело сердце
в медных проводах.
Я у костра сушил
немыслимые гетры,
Ступив ногой
на дикий Кара-Дах.
Ты, стройная,
как нить нефтепровода,
Спускалась в бухту
мощною трубой,
А я в седле глотал
сухие углеводы,
Пустынею склоняясь
над тобой.

Тебя звездой
увижу вновь из туч я,
Покой и тишь—
душе невпроворот.
Я не закрою
мой певучий рот,
Чтоб изрекал он
мысли и созвучья.

С. МИХАЛКОВ

ПРОГУЛКА

Прибыл в Гагры я в грозу,
Взгромоздился на козу,
Но коза та, разъярясь,
Седока швырнула в грязь.
В Крым уехал я со зла,
Сел на горного козла,—
Через горы прямо в лес
Мой козел со страха влез,
А потом, среди бела дня,
Сбросил бедного меня.
Я сбежал в Алма-Ата.
Оседлать хотел кота,—
Кот, характер мой кляня,
Оцарапал вдруг меня.
Я приехал в Ашхабад.
На верблюда сесть я рад,—
Посмотри-ка, добрый люд,
Что за злой пошел верблюд:
Познакомившись с горбом,
Больно стукнулся я лбом,—
Стал верблюд жевать траву.
Возвращаюсь я в Москву
И, на стул свой сев верхом,
Выражаю все стихом.

„НЕМОЛОДОИ ЛЕНИНГРАД“

Сборник пожилых, начинающих

СИДОР КАРПОВ

ДОРОГАЯ ТЫ, СЯКАЯ...

Как приеду, дорогая,
Как пройду да как взгляну—
Дорогая ты, сякая,
Подойди скорей к окну.
Ты ли пляс ведешь со вкусом,
Я ли это, дай ответ:
Где твои шестнадцать с гаком?
Где мои семнадцать лет?
Не оставлю я в покое
День, плетень, избу да бор...
Из порожнего в пустое
Лажу длинный разговор...

КАРПИНА СИДОРОВСКАЯ

МНОГОВОДНАЯ ВОДА

В стакане, в рюмке,
В кружке,
В стопке
Я слышу бульканья звук робкий,—
Везде, всегда и иногда
Ты льешься предо мной, вода.
Под солнцем жарким,
Под звездою—
Я грежу всюду и везде
Одной лишь вечною водою...
Вода! Водою! О воде!
Как не излиться мне, о, ах!
Водою о воде в стихах?

ВАЛЬКА

Эх, у Вальки с Острова
Плечи, грудь...
Глазки взгляда острого:
Не забудь...
Вам, папан с маманею,
Нос утру,
О любви заранее
Говорю.
„На газу“ к вам въеду я,
Дочку обниму,
Дай-кось побеседую:
Что—к чему.
А потом мы с Валькою,
С девкою вдвоем,
Как кусок поэзии,
В „Сборник“ попадем!

Ф. ПАНФЕРОВ

КУСКИ

Звено тысяча триста сорок пятое

1

Голый Силантий размял слоновые плечи, заелозил широченной спиной! Между лопатками появились волнистые бугры и желваки.

Силантий могуче выдохнул воздух, втянул мякоть живота, выпятил могутную грудь и, напряжив огромный волосатый кадык, загоготал.

— Го-го-го!—гремело и грохотало по зеленому лесу.

Наготовавшись, Силантий стал задом к огром-

ному рыжемастному жеребцу с сумасшедшей золотинкой в раскосых глазах.

Жеребец, игриво мотнув мордой, ткнул Силантия в зад,—Силантий полетел, весело взягивая пятками, в воду.

Жеребец плюхнулся следом.

Сначала жеребец, озоруя, сгреб Силантия, но Силантий поднатужился, напряг бицепсы, выпятил могучую, твердокаменную выю и сгреб жеребца.

Не успел Силантий нырнуть, как жеребец осклабился озорной лошадиной мордой и легонько смазал Силантия копытом по загорелым и упругим ягодицам.

Силантий весело гикнул и, перекинувшись всем могучим корпусом через жеребцовую спину, поплыл к берегу, шлепаясь и отфыркиваясь в воде, как морж.

Жеребец застонал от удовольствия и с веселым ржаньем поплыл за Силантием. Силантий ловко оседлал жеребца в воде и снова загоготал.

Мощному человеческому гоготу ответило радостное лошадиное ржание, и эти оба голоса, жеребца и человека, слились в единый гимн утру и солнцу...

2

Силантий, медленно поводя саженными плечами, не спеша, вразвалку шел по селу.

Навстречу ему шла Лушка. Силантий, подрагивая широкими ноздрями, быстро сгреб бабу—и в ольшаник...

Уже вечерело, когда Силантий, лениво поводя плечами, вышел из ольшаника и пошел к большаку.

Густели сумерки. Звонкий знакомый бабий голос выводил песню. Силантий тихонько заржал про себя и пошел навстречу песне. Увидев Женьку, Силантий озорно гикнул, мигом сгреб бабу—и в малинник. . .

Первые петухи пропели на деревне, когда Силантий, спотыкаясь о валежник, вылез из малинника и пошел в Малую Гать проселком. Не доходя околицы, он повстречал Паньку. Рыжая Панька шла на базар. Увидала Силантия—осклабилась.

Силантий краем уха подмигнул Паньке, проворно сгреб бабу в охапку—и в ельник.

На востоке розовело.

Мужики гундосили по избам и ольшаникам, почесывая волосатые и косматые груди, чертыхаясь и озуя с бабами.

А на тыщу километров кругом лежали буреаки, буреломы и болота.

ДВА ШЕВЧЕНКО

К. ПАУСТОВСКИЙ

1. ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Расчерченный гениальным карандашом Гваренги и Растрелли, простирался город, по которому шел молодой человек с папкой подмышкой.

Стрелы проспекта пронзали город с востока на запад.

Горько пахли травы в Летнем саду. . .

Брюллов жмурился в лучах ослепительной славы.

Еще не остыл пистолет Дантеса.

Пушкин, вытянувшись во весь рост в своем сюртуке, лежал в могиле на высоком холме.

Прадед мой, раскуривая крепкий запорожский тютюн в люльке, рассказывал мне в нашей ма-занке о стародавних временах...

Я лежал на лежанке, свернувшись в смуглый комочек, а сердце птицей взметало в синее звездное журавлиное небо Украины.

Уже взрослым писателем, находясь в состоянии вечной тревоги, в тоске по сюжету, ступил я взволнованной ногой на песчаную землю Прикаспия, где некогда, овеяна жарким ветром пустыни, в пыли и страдании томилась, затянутая в солдатский мундир, горькая песня Шевченко...

МИХ. ЗОЩЕНКО

2. ТАРАС ШЕВЧЕНКО

РОЖДЕНИЕ

Тарас Григорьевич Шевченко родился в бедной крестьянской семье своего отца, крепостного, у злого и нехорошего помещика Энгельгардта.

ДЕТСТВО ПОЭТА

Будучи мальчиком, Шевченко был сначала пастухом, а затем казачком.

Ему худо жилось.

Он пас коров, а потом подавал барину трубку.

ЮНОСТЬ

В юном возрасте, переехав с бариним в Петербург, Шевченко учился на маляра.

УДАЧНАЯ ВСТРЕЧА

Однажды в Летнем саду Шевченко встретил художника Сошенко, который устроил его в Академию художеств.

О С В О Б О Ж Д Е Н И Е

Благодаря стараниям бескорыстных друзей Шевченко получил вольную за большие, по тогдашним временам, деньги.

С С Ы Л К А

В 1847 году Шевченко сослали простым рядовым на десять лет очень далеко. Ему было тяжело вдали от родины.

В О З В Р А Щ Е Н И Е

Прошло десять лет, и в 1857 году Шевченко разрешили вернуться на место жительства.

К О Н Е Ц

В 1861 году, заболев водянкой, Шевченко, к сожалению, скончался в маленькой комнатке при Академии художеств.

М И Х А И Л П Р И Ш В И Н

РАССКАЗЦЫ—ОЧЕРЧЕЧКИ

І. КЛЮКВЕННАЯ КОЧКА

Если выйти из Мотылихи и взять заворот влево по мхам и болотам, мимо старой ели, что над Щучьей протокой, то молодым торфяником можно, прыгая с кочки на кочку, с пригорка на выхолмок, с выхолмка на стрежень, переплывая небольшие бочажки, поймы и болотца, очень легко дойти до замечательных клюквенных мест Верхней Суземки.

Эти места показал мне лет двадцать пять тому назад Иван Дормидонтыч, ядреный такой, славный старик, обросший рыжим мхом, но крепкий,

наказистый и наваристый, что уха из стерлядок, сваренных поздней весной в соловьиную ночь на Суре близ Козьмо-Демьянска. Так вот, сидели мы с Иван Дормидонтычем в избе, выпили три самовара; старик встал, перекрестился старинным двуперстным крестом и повел меня медвежьими тропками по клюкву. Но только дошли мы до первой кочки, глядим—небо сизоветь начало, посмеркалось, с болот холодком потянуло; глянули на кочку—а клюква вся поклевана молодыми тетеревами.

А прежде, рассказывает Иван Дормидонтыч, места эти были чудесные.

II. ПОДМЕТКИ И НАБОЙКИ

Жил на Москве, за Рогожской, старик Селифан Ерофеич, по прозвищу Шевровый Волчок, на липке сидел, башмаки шил,—старичишка кво-лый, одни кости да фартук зеленый, а шил замечательно—на хозяина работал. Бывало, в четверг после обедни сядет за работу, в субботу к заутрене кончит. Завернет в фуляр и несет хозяину.

В воскресенье после обедни напьется, все спустит вплоть до фартука, а в четверг аккурат после обедни опять за работу; подметки и набойки делал как никто.

Мужских башмаков в руки не брал: брезгую, говорил, этим полом. Бывало, идет по Тверской и все на женские ножки глядит—формой мучится.

Так и преставился, попав под трамвай в пьяном виде.

III. ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

Когда вызвездит в первую тетеревиную ростепель, мне как-то становится не по себе и тянет в буреаки, во мхи, в глухариные места, в вальд-

шнепник, что за большой поляной, поворота на заячью тропу, — расстояние для нас, охотников, пустяковое: километров двенадцать лисьего гона, не больше.

Не выдержал я, разбудил ребят. Вскинули мы ружья и пошли до света. Отмахали восемь километров, взлезли на кочку, стоим, слушаем: поет, — для зяблика рано, и на овсянку не похоже — не то колено.

В самое утро Благовещенья, лет девятнадцать тому назад, довелось мне в Брынских лесах, что над рекой Брынью, в бывшей Калужской губернии, слушать замечательную овсянку-самца.

Самец сидел на березе и с упоением, подзывая самку, выводил свое несложное коленце: „Ти-ти-ти-тá, ти-ти-ти-тá“; но то, что пело у кочки, в ростепель 36-го года, не было овсянкой.

— Ребята, — сказал я, внимательно послушав и низко наклонившись над кочкой, — это не птица поет, это ручей под снегом.

Ложная тревога! И мы весело возвратились домой.

А. ПРОКОФЬЕВ

МАЛАЯ ОХТА

I

Эх, приладожская воля —
Щучья радость, рыба доля,
Три плотички, два линя.
Шла с чужим на Охту дроля,¹
А за дролей топал я.

¹ На севере — любимая, дорогая.

II

Поля ты или не Поля?
Леля ты или не Леля?
Щучка? Корюшка? Линек?
Ты плотва ли?
Окунек?
Шла со мною с Охты дроля.
Сзади топал паренек.

ПОЛЮБОВНЫЕ ЧАСТЫЕ

ПЕРВАЯ ЧАСТАЯ

Слева—Маша,
Справа—Даша,
В лентах русая коса.
Даша—наша,
Маша—ваша,
В сердце—девичья краса.

ВТОРАЯ ЧАСТАЯ

Справа—Маша,
Слева—Даша,
В сердце—русая краса...
Даша—ваша,
Маша—наша,
В лентах девичья коса.

ТРЕТЬЯ ЧАСТАЯ

Маша—слева,
Даша—справа,
В сердце—горькая отравка,
Ты ли девичья краса?!
Ты ли русая коса?!

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТАЯ

Маша—справа,
Даша—слева,
Три тальянки, два запева.
Глянь на девичью красу,
Встань за русую косу!

ПЯТАЯ ЧАСТАЯ

Ты краса ли?
Ты коса ли?
Мы с тобой ли не плясали?
Была ваша,
Стала наша.
Ты краса иль не краса?
Ты коса иль не коса?

А. ПУШКИН И ДРУГИЕ

А. ПУШКИН

ЗИМА

Зима. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь.
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью, как-нибудь...

В. С. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Кружатся снежинки-пушинки,
И снег, как всегда, мокроват.
Пейзанин—в уютной овчинке,
От конской спины—аромат.
О дровни, о русские сани,
Обломки седой старины,

Свидетели древних сказаний
При свете туманной луны!
На сене, под звездною высью
Ко мне ты склонилась на грудь...
Извозчик! Пусть мелкою рысью
Плетется ваш конь как-нибудь...

М. КОМИССАРОВА

ДЕТСТВО

Мамка, да тятка, да наша буренка,
Хлеб да избушка, мороз да зима...
Наша ли это стоит лошаденка?
Я ли на дровнях уселась сама?!
Трогай, убогая, дровни с навозом,
Я те, ужотко, прибавлю овса...
Бабка да мамка, снега да морозы,
Тятка да дедка, поля да леса...

А. РЕШЕТОВ

ПРОГУЛКА С ДЕДОМ

Я люблю гулять в деревне
В полушубке, в армяке...
Вот старик седой и древний
Едет к лесу налегке.
В Тимофеиче уверен:
Правит мудрою вожжой.
Снег почуя, сивый мерин
Пробирается межой.
Путь лошадке с детства ведом,
Я ж, усевшись, как и все,
Неспеша толкую с дедом
О махорке и овсе.

АЭРОДРОВНИ

Взлетает крестьянин
В открытое небо
На аэродромных,
Насквозь голубой.
Лежит в фюзеляже
Куль свежего хлеба,
Мотор не плетется—
Бросается в бой...
Привет тебе,
Славный, крылатый колхозник!
Внизу пораскинулись
Зимние га...
Пусть тучи нам строят
Различные козни,—
Альтиметр скачет,
Почуяв снега...

ЛЕОНТИЙ РАКОВСКИЙ

ЛУШКА

Лирическая повестушка

Лушка была прелестная, теплая девушка из простого народа. Румяная крестьянка с высокой деревенской девичьей грудью и полными ногами и руками.

Лушка служила в столице у господ, у эксплуататоров одной домашней прислугой.

Стирала, гладила, парила, жарила, варила, бегала в лавку, закрывала и открывала двери.

Господа спали на перине, а она—на голых досках, где попало.

Симпатичная девушка, румяная, слегка курноса...

Вдруг пришла революция. По улицам ходили люди обоего пола с флагами и пели песни.

Моя Лушка сразу осознала свое положение и ушла от несимпатичных господ, которые ей стали противны.

У Луши была, к счастью, очень сознательная подруга Маша, которая моментально взяла ее на буксир.

Луша стала стрелять из винтовки, надела шинель и пошла на фронт бить белых.

Била, била и разбила.

Румяная такая, слегка похудевшая от недоедания курносая девушка из низов...

Иду я как-то по улице, вижу—хорошая готовая девушка сюжетом ходит, ни мыслей не требует, ни чувств,—хватать ее в книжку.

Глянь—пять листов и получилось. Как-никак, а все-таки книжка!

В. С. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

МОЯ ЭКЗОТИКА

Восходит солнце над Сагызом,
И янтари Аму-Ата
Омыты джаристанским бризом
Над синей гладью Кым-Бата.

Люблю цветы Али-Азрани,
Когда Кзыл-баша изумруд
И тьму-аза цветут в тумане
В садах Али-Аби-Авуд...

Здесь слепок с вазы Каримана,
Сошедший в сень Ару-Арык,
Бредет с кувшином Тамерлана
Тропою предков в Таганлык.

Люблю я дев из Луджистана,
И джахских персей смуглоту,
И горечь пряного сюдзана
На берегах Базыл-Бату.

Люблю джимкентских пионеров,
Биби-айбатских октябрят,
Согдийский профиль дромадеров
И дыни знойных Тарабад.

Люблю красу, косу, селенья,
И Кичзураб и Кичкенэ,
Когда со вздохом умиленья
Я возвращаюсь из турне.

Я вспоминаю за сервизом
Все экзотичные места:
Восходит солнце над Сагызом,
И янтари Аму-Ата

Омыты жаристанским бризом
Над синей гладью Кым-бата.
Люблю цветы Али-Азрани,
И клен, и лен, и небосклон...

О, сколько есть еще названий
И упоительных имен!

ЕЛЕНА РЫВИНА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЛЮБОВНАЯ

Живет, цветет, поет в стране
Весна весною о весне.
Весна-страна, страна-весна..
Поет любимый мой со сна,
И я любимому во сне

Пою о море, о сосне...
Я на Литейном на мосту
И зажигаюсь и цвету,
Но мост разводят наяву,
Я сердце брошу за Неву...
Мои проспекты и мосты,
Где он сказал впервые „ты“!
Мой невский бурный водоем!
Мой трехэтажный с крышей дом!
Две занавесочки в окне!
В моем краю, в моей стране
Он—обо мне, а я—о нем
Поем, цветом, цветом, поем.
Я вздохов сердца не храню—
Стране бросаю, солнцу, дню!
И—новой песнею звеню...

ИЛЬЯ САДОФЬЕВ

МОЕ МНЕНИЕ

Боритесь в классовой борьбе,
Вдыхайте дым трубы фабричной,
Живите! Радуйтесь себе
И жизни нашей необычной...
Вдыхайте классово борьбу,
Боритесь у трубы фабричной,
Вобрав фабричную трубу
Во имя дружбы закадычной...
Фабричных труб вдыхайте дым,
Вздымайте классов двух боренье,—
Заводов дым неутомим,
Как закадычных труб паренье...
Вдыхайте дружбу у трубы,
И дым заводов закадычный,
И пламень классовой борьбы,
И глас гудка заводов зычный...

Живите, радуйтесь себе,
Вдыхая трубы, как обычно...
Боритесь, граждане, в борьбе—
И все получится отлично.

ВИССАРИОН САЯНОВ

ЗАПОЛЯРНЫЕ ЛЕДОВИТЫЕ СТРОФЫ

В форштадте я на-днях гулял в отлете,
У лукоморья встретил я гальот.¹
По собственной своей большой охоте
Гулял вокруг дуба, как ученый кот.

Плыл с дядькою морским я на гальоте,
Гляжу—русалка руку подает,
В гальоте косы древние—в разлете,
Слеза веков стекает на гальот.

Былинником пою, восстав над мхами,
И славлю тот же дедовский гальот.
По морю белому пройдуь стихами,
Меня волна седая обольет...

Мне богатырский дух отныне ведом,
Седых былин ломаю с треском лед...
В какую даль? К каким далеким дедам
Меня несет настойчивый гальот?

О солнце старины! Опять сналету
Меня былинной древностью прорвет,
И сердцем вновь я обращаюсь к гальоту,
Упершись лбом в... излюбленный гальот.

¹⁾ Старинное парусное судно.

СРЕДНИИ ИЛЬЮША

Г Л А В А С Х Х Х V I I I

Ильюша проснулся в своей комнате, на грязном пружинном полосатом матраце, и сразу мысленно подумал о том, что он очень хочет есть. Кругом валялись грязные носки, кальсоны, селедочные головы и другие объедки.

Ильюша больше месяца не был в бане.

Он почесал указательным пальцем голову и посмотрел на часы: было двадцать четыре минуты второго пополудни.

Ильюша почувствовал в желудке и пищеводе сильный голод. Он любил есть сытную, обильную и вкусную пищу. К этому его приучила мама.

Но у Ильюши не было денег.

Ильюша встал с постели, надел кальсоны, носки, сапоги, штаны, пиджак, пальто и шляпу, застегнул брюки на пуговицы, запер дверь, спустился по лестнице и вышел на улицу.

Потом он пошел по улице, дошел до остановки трамвая и стал ждать свой маршрут.

Дождавшись своего маршрута, Ильюша сел во второй прицепной вагон, заплатил кондукторше пятиалтынный за билет и поехал на трамвае к своей бывшей кормилице, где он надеялся сытно и вкусно пообедать.

Доехав до остановки, Ильюша вышел на переднюю площадку второго прицепного вагона и слез с трамвая.

Слезши с трамвая, Ильюша пошел по перпендикулярной к проспекту улице, потом свернул на боковую и, пройдя три дома, остановился у знакомых ворот.

Ему очень хотелось обедать.

Ильюша подумал, вошел в ворота, прошел по двору и поднялся в третий этаж.

Дверь кормилицы оказалась на замке. А мама была далеко.

Ильюше сильно хотелось есть. Он сел на подоконник и стал ждать кормилицу, чтобы войти с ней в квартиру, сесть за стол и вкусно пообедать.

Наступил вечер, но кормилицы не было.

Тогда Ильюша спустился с подоконника, на котором сидел, сошел вниз, пошел по боковой улице, потом по перпендикулярной, вышел на проспект, сел в трамвай и поехал домой.

Дома он вошел в ворота, поднялся по лестнице, повернул в коридор, остановился у двери, отпер ключом и вошел в свою комнату.

Ильюша снял шляпу, пальто, пиджак, брюки, кальсоны, носки и сапоги, лег на кровать и заснул...

А. ТВАРДОВСКИЙ

МАТЬ И СЫН

Жил на свете паренек,
Парень конопатый,
Прыгал в детстве на пенек,
В лужу возле хаты.
А теперь он стал другой,—
Парень стал богатый,
И стоит он дорогой
Подле новой хаты.
Мама старая сидит
На крылечке новом,
На старушку сын глядит
Во саду еловом.

— Где ж тот старенький пенёк,
Лужа возле хаты?
Мать, не твой ли паренек
Стал теперь богатый?—
На ступеньке мать сидит,
Славная старушка,
На старушку сын глядит,
А вдали—опушка.
На опушке хорошо,
Хорошо и в хате,
На старушке—платье-шелк
И пальто на вате.
Мать тихонько слезы льет,
Вспоминая грозы,
Плачет сын, и день плывет,
Проливая слезы...
То не слезы—счастья мед!
Позабудь кручину!
Мать и плачет и поет,
Подпевая сыну...
Слезы просятся в глаза,
Дай смахну их снова...
Эх, слеза моя, слеза,
Слезка ты медова!

Н. ТИХОНОВ

АБДУЛ-АЛИ-ХАН

Экзотический путевой набросок

На желтом блюде пустыни—черное кружево
саксаула.

На небе зажигаются зеленые огоньки.

У самого неба стоит верблюдов.

Он внимательно, озирает плотный мир средне-
векового феодализма, вопящего всеми своими
лохмотьями, трахомой и бытовым сифилисом.

Сын Тимура, легкий, как птица, вышел из шатра, прицелился из винчестера в оранжевого зайца и уложил его на ходу.

Фисташковая пустыня несется через немислимый вечер в вечность.

В реве ишаков, в бляении баранов звучит музыка ночных сфер.

И бешеные смуглолицые колониальные сюжеты французской вдохновенной кисти, сорвавшиеся с полотен Лувра и Люксембурга, пляшут вокруг лиловых костров на рыжем фоне пустыни.

Мы пьем зеленый чай на коврах длиннобородых предков.

Нас охраняет фиолетовая ночь, триста сынов дикого немоющегося народа и шестьсот кобелей, свирепых, как самум.

За пологом шатра полощется тончайшее шафранное утро. Вздывают горбы шершавые верблюды и плюют на собак ненавидящей, соленой, изумрудной слюной.

Тысячелетия идут к водопою тропой Тамерлана.

Ишак мочится у шатра янтарной струей.

А за спиной ишака—примус, трактор и протоколы аулсовета.

ПРОГУЛКА В ОСТЕРБРЮГГЕ

Из цикла стихов о Европе

Бежит за мной уродливая такса,
Ползет на холм безглазая тоска.
Тропа узка, как череп англосакса,
А под ногой—бедро, ступня, рука...
Вдыхая розы, нюхаю сраженье.
Садясь на пень, я ребер слышу треск,
Иное принимаю положенье,

Чтоб лицезреть костей берцовых блеск...
Ложусь под вязом, подо мною—тленье,
Растительность кровава и скупа,
В кустах сирени—сладкое гниенье:
Трещат, стуча зубами, черепа.
Я выхожу на римскую дорогу,
Но из цветущей точки по прямой
Истлевшую протягивает ногу
Мне на посту стоявший часовой.
Среди скелетов свежий бьет источник.
Вдыхаю терпкий тления дымок.
Я наступил на чей-то позвоночник,—
Могильным звоном звякнул позвонок.
Веселый плющ бежит по белым стенам,—
Здесь пчелы Рубенса собирали мед,
Но что ни пчелка—отдает фосгеном,
Что ни букашка—адский газомет.
Снуют, как пули, шустрые стрекозы,
Белеет челюсть скромно на лугу...
Отказываюсь нюхать эти розы,
Смотреть на мошек больше не могу.
Упала ночь внезапная, как клякса,
Артиллерийская гремит гроза,—
История скулит за мной, как такса,
Вперяя в ночь ослепшие глаза.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

МИН-ХЕРЦ-ПИТЕР

Ардальон Панкратьевич (нос—свеклой, глаза—тусклые) вошел в палату и (кислым голосом):

— Мать, поднеси чарочку.

Ардальоновы девы всполохнулись, закивали туловищами, учиняли политес с конверзационом:

— Пуркуа, фатер, спозаранку водку хлещете?

— Цыц, кобылица! Я те плетку-та! (Это — старшей Степаниде, широкозадой бабище.)

Взревел. Выпил. Поскроб подмышками.

(Рыгнул. Передохнул.)

— Ох, скушно. Ох, тошно...

Чужой лесопильный завод не давал покою.

Вышел на крыльцо.

И (боком, шуба на соболях, шапка на бобрах, рожа раскорякой, вильнув задом) в возок.

Зазвонили у Федора Стратилата. Потом у Варвары Великомученицы, что у Спаса на Могильцах.

Разбойные люди пошаливали промеж двор на Москве. Купчишки вступали в кумпанства интересанами.

В подклетьях и чуланах стояли страшные мужики в посконных рубахах, дышали теплою вонью, оседали на задах, трясли нечесаными бородами, жгли свечи, истово били заросшими лбами земные поклоны.

Загудел Иван Великий.

Хромоногий старец Амброзий вьелся глазами. Разинул рот. (Язык шелудивый, дух смрадный, и зубья повыбиты.)

Провопил троекратно:

— Ужо я вас, антихристово семя!

И швырнул сухим калом в передние ряды.

Задохся благочестием. Отошел. Побрел в угол, таща за собою дряблый старческий зад...

Бешено сверкнул глазом. Подрыгал левой ногой. Постучал горстью по столу.

— Вор. Вор и есть.

Бил долго. Сопел тяжко. Трость испанского

камыша, подарок Людовикуса короля, обломал о шустрый Алексашкин зад.

Обмяк. Бросил нога за ногу. И (совсем ласково, одним краем пухлого рта):

— Собирай на стол. Завтракать.

Часы тонкой парижской работы на мраморном камине пробили двенадцать.

Дабошан Карл Двенадцатый потянулся, прикрыл одеялом голые ноги лежавшей рядом графини Ричмонд, разом осушил бутылку рейнвейна и отшвырнул с презрением Корнелю Непота.

— Натали. Я решил (покусал губы, поежился, почесал узкий длинный мальчишеский зад, застегнул рубашку)—ты поедешь в Ржечь Посполитую и сделаешь амур королю. (С яростью.) А мои драгуны свернут ему шею.

— Ваше величество...

— Закройся с головой. Сюда идет сенат.

И потянулся за бочкой бургундского.

Мин-херц сидел. Покачивал пяткой, поджал уши. Услышал легкие каблучки.

Увидел черные кудри и ноги под юбкой. Засмеялся. Элене-Экатерине:

— Здравствуй, Катюша. Посвети мне, спать пойду.

Выла вьюга на больших чердаках. Купчишки ежились, заводили кумпанства и строили заводы.

А Митька-Неумытое-Рыло, клейменный каторжный стервец, погромыхивая цепью (ключица переломана, три ребра—прочь, одна ноздря на Выгозере вырвана), яро матерился. Бил, бил, бил ядреной кувалдой, бормоча в окаянную бородищу:

— Доколе бить-та? Ишь ты, дьявол. Того и гляди, третью часть напишет.

ИМПЕРАТРИКС АУС МАРИЕНБУРГ

Отфрыштыкали изрядно.

Сначала подавали персицкую рыбу фиш в дацком соусе, подарок королюса—шаха персицкого, потом „майонез-рыбу“ голландскую, тонко-костную, с розовыми прожилками, потом жиго по-шведски с фисташками, потом рябчиков соликамских с брусникой и пломбирус с фруктозами, подарок французского королюса руа Луи Пятнадцатого.

Сидела императрикс в кресле. Мучилась животом. Резь и отрыжка.

Остзейский ветер посвистывал на Васильевском. Гулял в перелесках.

Глянула на натуру через амбразуру: за фенстером—Нева-флус, паруса заморские, шкиперы голландские с глиняными трубками. Господа гвардия. Штуцера и канонен. Небо в тучах.

Петерсбург.

Императрикс в кресле. Ноги у нее толстые, белые. И грудь просторная, большая.

От вчерашних экзерсисов танцевальных вертиж до сих пор не проходит.

Дансантно было зело.

И белобрысого секунд-майора приблизила после машкарада. Хвала Венус пречистой!

Посмотрела на себя: Катеринхен, Катюша, Катенька... Ди арме Марта... Императрикс аус Мариенбург.

Ох, кто там в сенате? Александр и Пашка...

И жалко себя стало.

По визажу слезы аус ауген на корсаж кап... кап.

Зазвонила в колоколец.

И подали фреины императрикс:

Лилейный вежеталус тэжэ для грудного велура
И пурпурную хинную вассер-воду для шелко-
вистости подмышек.

И венецианский жидкий вазелинус, на голубиных
почечных лоханках настоенный, для укрепления
ресничных корней.

И скипидарус персицкий царя Артаксеркса
противу резей желудочных.

И клопоморус янтарный из земли Арагацкой
противу насекомых альковных.

В полшеста часа накинули фреины на импе-
ратрикс сначала аграманты с аржантами, потом
сердальон с ангажементом, простроченным по
тарталету тортюрами с бордолезом. Потом поверх
сердальона набросили тюрлюрлюр французский,
а поверх тюрлюрлюра ландолезу голландского
шелка с брабантским кружевом и шемизет деми-
сезон бургундского велюра с кантиком.

И понесла императрикс груди свои, умашенные
вежеталусом и вассер-водой, в паратную залу.

И увидела: стоят господа иностранные госу-
дарства, господа сенат и господа гвардия.

И тот белобрысенький, которого приблизила...

Сердце под корсажем натурально пальпетирует:

— Катеринхен, Катюша, Катенька... Ди арме
Марта...

Императрикс възрыдала.

ОЛЬГА ФОРШ

ЛЕМПЕРАТРИС и ЛЕ МУЖИК

1. ЛЕ МУТОН О-ФИН-ЗЕРБ

Только что приехавший на перекладных из
Геттингена Александр сидел за трельяжем на
канапе и глядел на зело прелестный и знакомый

женский локоть, который не токмо погладить, но и поцеловать хотелось.

Контраданс был в разгаре, особливо в малой гостиной, где Селизет, стоя у тетушкина кресла, счастливая аркадская пастушка, задыхаясь от пре-великого бонера, выпевала сквозь жемчужные зубки второй куплет „Ле мутон о-фин-зерб“ с рефреном.

Вдруг в конце второго куплета Александр вздрогнул: мысли о неустойстве государства российского „о фон“ возмутили его чистую душу, получившую дворянское воспитание.

„Сколь позорно мы молчим, когда мучительству одних соответствует жирное самодовольство других?! Доколь теперь будет беззаконие?! Если существует вечная пречистая астральная гармония, то почто не сходит она на землю?“

Почувствовал всем сердцем:

„Самодержавство есть не токмо бич народов, но и весьма пагубное уродство природы“.

Вспомнился канделябр „вье сакс“ в масонской ложе и Алексис в напудренном парике.

Захотелось пребольничного счастья с Селизет.

Незаметно вздохнул и стал подпевать третий куплет:

Сколь я дрожу от неги,
Возри, мой пастушок...

II. Л'ЕМПЕРАТРИС ШЕСУА

Плюнула на Вольтера. Вообще на философию и энциклопедистов.

Мужика испугалась.

Того чернявого, с бороденкой, яицкого казака.

Сначала не верила, а сейчас шагала дебелая л'емператрис всея Рюсси в том самом пенюаре, в котором Гришку Орлова из алькова выгнала, простоволосая...

Взывала цум Потемкин, цум обожаемый Гришутка.

Понимала все решительно!

Прежде всего надо окончательно приблизить дворянство как класс, укрепив этим экономическую свою базу, как самодержавной единицы на троне.

Она не императрица. Она „сельман“, всегонавсего — скромная помещица.

Колыхалась высоченная грудь под валансьеном. Изнемогая от страсти, строчила билье-ду свой ненаглядни бегьемотик Гришенька.

А ночью, среди услад сердечных, на подушках киргиз-кайсацкия орды, под гром литавр Кучук-Кайнарджийского мира шептала с негой в волосатое ушко диктатору:

— Твое гениальное положение о губерниях в еще большей степени, чем моя жалованная грамота дворянству, будет содействовать укреплению экономической мощи правящего класса, дворянства державы Российской.

А. ЧЕРНЕНКО

ЗОЛОТОЕ ДЕТСТВО

Кажись „пассажир“.

— Э-эй... едрит тебя в душу...

— Робя-я-я!..

— Чегой-то не видать.

— Может, еще по одному гусаку дербалызнем?

— Дяденька, скоро „Самолет“ придет?

— Замолчи, туды твою растуды!..

Я отползаю от грузчиков и ползу на помойку. На помойке тепло и весело.

Покопавшись в мягком мусоре, плетусь в подвал, оттуда в базарные ларьки. С базара — в подворотню.

Из подворотни на меня бросается мопс
с барынькой. Барынька визжит, а я швыряю
в псину камнем.

У меня мать—прачка с мозолистыми руками.

У меня отец—сознательный грузчик.

По каналам течет вонючий рассол.

С Волги тянет тухлой воблой.

На пристани орут пьяные соленосы с пупочными
и паховыми грыжами.

— Э-э-эй!

— Держи левой!

— Язви тебя в селезенку!

Издалека от самого крайнего амбара соленый
свежий каспийский ветер моряна доносит ответное:

— Так твою раста-а-ак...

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

ИЗБРАННАЯ ЧЕПУХОВИНА

Вот так штука,

Вот-те на!

Вышла жаба за слона—

За Слона Слоновича,

За Петра Петровича!

Стала щукою блоха...

Ха-ха-ха, да ха-ха-ха...

Белка серая гогочет,

Бык на кустике стрекочет,

Гусь на веточке блекочет,

Крокодил побриться хочет.

А посуда, а ножи

Побежали...

„Стой! Держи!“ —

Закричали тут ежи.

Завопили тут стрижи:

„подавай-ка нам коржи

С маком,
С гаком,
С пастернаком!“
А медведь, такой смешной,
Встретил тигра на Сенной!
Что тут было!
Что тут было!
Стрекоза в лесу завывала,
Как из пушки,
На подушке
Завопили басом мушки,
Звезды прыгают в траве,
Львы заплывали в Неве,
В небе квакают лягушки:
„Ква-ква-ква, да ква-ква-ква,
Закружилась голова!
Ха-ха-ха, да ха-ха-ха,
Дайте, дайте нам вина!“
Чепушинка,
Чепуха,
Че-пу-хо-вина!!!

НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ

ВАСЯ, ПЕТЯ, ПАША, ДАША, САША

Роман

Вася был довольно рослый и приятный молодой человек с небольшим носом и подбородком. Волосы у Васи были чуть золотистые. Глаза его смотрели прямо.

Петя был двоюродным братом Васи. Петя был маленький, но симпатичный.

Паша была толстая и коротенькая. Она была очень веселая женщина и дружила с Сашей.

Саша была худая и высокая. Ходила всегда в юбке.

Даша любила Васю, о чем знал Петя и догадывались Паша с Сашей.

Вася пришел посидеть к Даше, посидел полчаса и ушел искать Петю.

Даша зашла к Паше.

Паша сидела на стуле за столом и ела ложкой кашу. Каша была в тарелке.

Кругом стреляли из пушек, пулеметов и винтовок. Пули летали там и сям.

Петя пошел искать Васю, а Вася зашел к Саше узнать, не видала ли она Петю, который тем временем шел закоулками от Даши к Паше.

У Даши было милое, обыкновенное, симпатичное лицо, с двумя небольшими глазами и одним носом над пухлым девичьим ртом.

Во рту у Даши справа, слева и посередине поблескивали зубы...

Даша, обходя пулеметные гнезда, торопилась к Паше.

Паши не было дома. Паша в этот час, ловко переваливая с боку на бок свое полное, но веселое тело, шла к Саше искать Петю и Дашу.

Петя тем временем перелез через забор и доедал у Паши вчерашнюю кашу. Поев, Петя лег на лавку и уснул.

Небо было синее. Было тепло.

Кое-где постреливали.

Идя от Саши, Даша снова зашла к Паше и застала Петю спящим. Она прикрыла Петю заячьим тулупом и побежала искать Васю.

А Вася сидел за столом у Саши и, подперев голову рукой, думал о Даше, которая так похожа на Петю.

Когда Даша на пути от Паши зашла к Саше, Васи уже не было. Саша торопилась к Паше.

Вдали стреляли. Пошел мелкий дождик. В палисаднике время от времени чирикала птичка:

— Чик-чирик, чик-чирик...

Птичка внезапно вспорхнула и улетела в неизвестном направлении.

Даша быстро накинула платок и побежала искать Васю. Светало...

1927—1938 гг.

АЛЕКСАНДР ЧУРКИН

СТИХО-ПЕСНИ

1. КОННАЯ ЛЮБОВНАЯ

Ехал я да ой да на коне,
Повстречалась по-над Доном девка мне,
Зацвели ржи, пшеницы да овсы,
Стал подкручивать я кольчиком усы.
Зацвела клевером, гречихою земля,
Зацвел я песнею кудрявой издаля.
Конь копытом кованым да топает вперед,
Он мою любимую да в стремя не берет.
Ой, да слезу я да с доброго коня,
Ой, да полюби чубатого меня!

2. КОННАЯ-СБРУЙНАЯ

Ой, уздечка,
Ой, попона,
Шашка, сбруя да седло!
Ой, родимые просторы,
Ой, родимое село!
Гей вы, шпоры,
Гей вы, седла,
Гей, родимое тепло!
Гей ты, сбруя, гей, подруга,
Гей, ковыльные края!
Гей ты, чалая подруга,
Разлюбезная моя!

лице. Сколько звезд на небе ясном?! Послала 14 статей в московские газеты. Ни звука.

Сегодня с утра не выходит из головы формула высшей математики: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Вечером яичница из трех яиц (яйца по 50 коп. штука), потом Гете.

Вторник, 31-го. Лермонтов. Снежные горы вокруг. Рисовая каша с молоком. Персики (40 коп. штука). Пишу отвратительно. Фосфор на исходе. Приехал Боря. Проговорили 18 часов 39 минут. Он верит в бога, а я нет. Поздно вечером кисель из айвы и хорошая порция Шекспира. Какое богатырское перо!

Познакомилась с Чуковским (отцом). Ночью — страшные сны: Шкловский, Вишневский и наш покойный сторож Ахмет.

Четверг, 14-го. Совершенно случайно узнала, что балык — это рыба! Странно...

И. ЩЕБЕТАЙ КРЫЛАТОВ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Из серии „Театральные мемуары“

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемые вниманию читателя воспоминания И. И. Щебетай-Крылатова захватывают конец первой четверти, всю вторую, третью и четвертую четверти второй половины XIX века, отчасти вклиниваясь в XX век.

Далеко не будучи шедевром, воспоминания эти все же охватывают ряд имен и фамилий, не вскрывая, однако, последних и не заостряя их на базе и в разрезе.

Тем не менее, И. И. Щебетай-Крылатову удалось подметить и выпятить, оставаясь в то же

время в рамках и пределах, в виду чего создается некоторое общее впечатление, правда, несколько лишенное того-этого, но все же дающее посильный намек.

И. И. Щebetай-Крылатов на протяжении всей книги и не пытается дать что-либо, будучи только бесхитрым свидетелем второй, третьей и четвертой четверти второй половины XIX века.

Глава первая МОЕ ДЕТСТВО

Родился я в глуши, но рос веселым и пытливым ребенком. Отца не помню. Матери тоже не припоминаю. Вокруг меня суетилась какая-то родня.

Смутно встает в памяти тетя Феня, куча желтого песку у нашего дома, нянька, держащая меня на руках, и я, трехлетний мальчишка с умным и выразительным лицом, уже пытаюсь декламировать монолог Гамлета.

Так наметилась моя сценическая карьера.

Глава вторая МОЯ ЮНСТЬ

Когда мне исполнилось 16 лет и 9 месяцев, приехал к нам в город, не то в конце апреля, не то в начале мая, известный на всем юго-западе В. В. Задунайский-Щемилло со своей труппой.

Они дали „Короля Лира“, и моя судьба была решена: я вступил в труппу и сразу занял первое положение.

Глава третья МОИ СКИТАНИЯ

Помню, играл я в Орле в труппе С. И. Бармалева-младшего. (Старший Бармалеев Ф. И. был горьким пьяницей и вскоре умер.)

Давали „Отелло“. После сцены удушения мной Дездемоны, которую играла В. А. Порхаева-Райская, впоследствии вышедшая замуж за комика-буфф С. С. Забулдаева-Непробудного, пришел ко мне в уборную местный пьяный купец богатей Севрюгин и поцеловал в обе щеки.

От неожиданности и творческого напряжения я разрыдался.

В Минске в труппе И. П. Черепушникова, от которого как раз в тот год сбежала жена, неплохая вторая инженю Сидорова-Поликарпова, был такой случай: выхожу я как-то в „Гамлете“, — красив я был в те годы необыкновенно, — только успел сказать первую фразу знаменитого монолога „быть или не быть“, как с галерки раздался свежий девичий голос неизвестной блондинки: „Быть! Быть!“ — и огромный букет пунцовых роз упал к моим ногам.

Молодежь меня обожала...

Еще помню, как в Керчи, где местный театр держал впоследствии прогоревший И. И. Керченский-Керчак, вышел я однажды в „Горе от ума“ в роли Чацкого Гляжу — у меня пиджак по шву треснул, а у меня как назло монолог „не образумлюсь, виноват“.

Сказал я: „Не образумлюсь, виноват“ — и удрал за кулисы. Пришлось дать занавес. Скандал получился на всю Керчь.

Глава четвертая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение считаю своим долгом выразить глубокую благодарность Всероссийскому Театральному обществу за предоставление мне возможности извести 5¹/₂ тонн остродефицитной бумаги на мои бесхитростные воспоминания.

ЕМЕЛЬЯН и ЕКАТЕРИНА

Исторический роман

1

Дверь мореного дуба с бронзой распахнулась, полнотелая государыня с голубыми глазами вошла в малую гостиную и опустилась на софу в расстроенных чувствах.

Вошли следом: Воронцов, Разумовский, Шувалов, Панин, камердинеры, фрейлины и прочие лица, коим во всех исторических романах было положено входить в царские покои.

Сидели, разговаривали о том, о сем, согласно документам того времени.

Екатерина была ядреная шатенка в теле. Меняла любовников. Никто и не думал, что она такая. Вырастала на глазах. Плечи—покатые, чулок с белоснежной ножки спустился. Плела интриги, но по ночам спала крепко, даже похрапывала...

2

Краснорожий мясничище с сальной мордой сидел со знакомым огородником.

Дули в жару жирнущие щи огневые со свинятиной, которые подавала грязнущая бабища Фетинья на семь пудов с гаком в рваном передничке, заткнутом за пояс.

Из кухни несло прогорклою вонью. Мясничище инда взопрел ото щей и тянул глоткой квасище с изюмом прямо из жбана, посапывая волжским сапом...

Балакали о том, о сем, а больше о поставках на говядину.

После щей опростали ведро капусты квашеной с моченым горохом, зарыгали истово избяным, смачным рыгом—на улице слышать: знатно отобедал мясничище.

3

Государь Петр III подрыгал сперва левой ногой, потом—правой, закукарекал хриплым тенорком, заверещал, завертелся волчком, выпучил бельма на пухлую грудь сонной бабищи—Воронцовой дочки, шмякнул ее по рыхлой спине—и хватъ фужер бургундского. Потом как вскочит, по-цыплячьи задрав головенку, и в ладоши—хлоп.

Едем, мол, к дяде в гости.

Прошелся колесом, дрыгнул тощим, верблюжьим задом разок, другой—и в коляску.

А в коляске—бабенки расфуфыренные и винца бочки три да закуска...

Перепился у дядьки и пошел по куртинам трепака откалывать.

Ночь хрустальная, белая, а кругом чистое безобразие: офицерье, нализавшись, девок лапает, девки визжат поросячьим визгом, один гофмейстер на березе кукарекает, другого под дубом рвет, вот тебе и эпоха...

4

Бородатый казачина Емельян Пугачев влез на горячую лежанку у ангельского старца во скиту пречистом и давай прелую онучу разматывать. Дух пошел по горнице крепкий, ядреный: как шибанет в ноздрю—ноздря вон! Потом как вскочит босой казак Емельян да к царскому портрету опрометью:

— Ишь ты дьявол скобленой! До чего похож!

Чует казачина, что жрать охота. Он — к старцу. Так и так, ангельский старец, напитай плоть мою!

Сели за стол. Как зачал казачище бородатый осетровую икру лаптем уминать — скулы затрещали, а сам — ничего, держится. Отъелся Емельян у старца и на Яик подался казаков прощупать.

Взъерепенились казачишки, едят их мухи с комарами, трясут бородами, еремина курица, все правду ждут; по уметам слухи ползут.

В избах — жарко, пахнет соленным судачишкой с тухлинкой да вялым ядреным сазаном. По стенам тараканищи стадами ползают, по клетям крысищи шныряют, на крючьях зипуны висят, вонища колом стоит зверская, а Емельян свое наворачивает.

На небе звездищи здоровейные полыхают, месячище криворожий от мороза крикает.

Объявился на Яике царь бородатый Петр Федорыч.

Поджала хвост Екатерина, испугалась яицкого казака петербургская чванная окаянная баба...

Заварухе — начало, а части — конец.

В. ШКЛОВСКИЙ

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В ТРЕТЬЕЙ ТРЕТИ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ XX ВЕКА

Исторический этюд-справка

У Е. Габриловича есть любопытная фраза в одном из рассказов: „Люди они были разные“.

Воевода Михаил Слонимский носил кафтан обыкновенный, серого сукна.

В его опочивальне висел портрет Льва Николаевича Толстого.

Рама была дубовая.

Писал воевода Слонимский проще простого, русскими буквами, стараясь не раздражать читателя сюжетом и образами.

Три Михаила почти одновременно вошли в русскую литературу.

Воевода Слонимский любил тона блеклые. Хмельного в рот не брал. Пил остуженную кипяченую воду.

Письменный стольник Мих. Козаков случайно вошел в историю и не вышел обратно: был взят в плен своими коварными мемуарами, на которые опирался.

Посадник на сатире Мих. Зошенко, находясь уже в зрелом возрасте, ударился талантом в науку и больно ушибся.

Покинув свою дружину из посадских и служилых людей, посадник ушел в Большую Прозу.

В профиль напоминал Лермонтова.

Чем—неизвестно.

У знатного боярина Николая Тихонова были седые волосы и молодые глаза. Говорил он басом, сочным на верхах.

Дрался храбро.

Однажды, путешествуя за рубежом, наткнулся на „Тень друга“, которую не поймал.

Писал стихами на своем поэтическом языке.

Друзья переводили народу на русский.

Николай Браун не был чудотворцем. Он был искусным гранильщиком мрамора.

Высекал строфы и шлифовал их.

Музы относились к нему сдержанно.

Ходил застегнутым на все пуговицы.

На Ладогe много лет гулял с дружиной крестьянский сын Александр Прокофьев.

Была у него муза нараспашку. Играла на балалайке и водила хороводы.

На Москве жили два двоюродных брата из мелкопоместных лириков Уткин и Жаров.

Торговали стихами с водой, ходили на соседей с рогатиной и дубьем, налагали дань на толстые и тонкие журналы.

У Уткина была гитара.

У Жарова был баян.

Перьев у них не было.

Отец Вениамин Каверин был постником.

В детстве он дал обет писать романы о профессорах и приват-доцентах.

Жил он на берегах Невы. Там же и печатал свои фолианты о Васильевском острове.

Романы были полноводные, как Нева.

Васильевский остров стоял неподвижно и омывался водой.

Вода шла по трубам в Гослитиздат и выливалась уже в переплете.

Многие разбойные писатели и писателишки нападали на издательства скопом и в одиночку, грабили дочиста кассу и уходили обратно в свои вотчины.

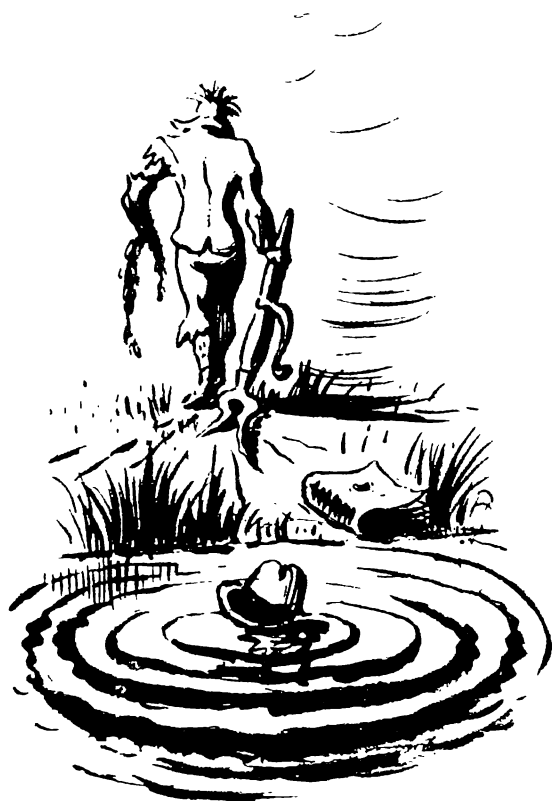
На дорогах их поджидали критики, кто со щитом, а кто и с оглоблей в руках.

Иных писателей приканчивали быстро, других сперва подымали на щит, а потом сбрасывали на землю.

Боярыня Вера Инбер обряжала свои рифмы в заморский фай-де-шин и бархат-велур, чем очень изумляла современников.







АРХИТЕКТУРА и ЛИТЕРАТУРА

На 7-е издание „Капитального ремонта“

Каков строитель?! Факт документальный:
Он под один-единственный этаж
Подводит бережно... седьмой тираж
Фундаментальный...

ЕДИНСТВЕННЫЙ...

Д. Дэлю

Не строчит в пылу анкеты,
Он не ходит на банкеты,
Не дает он интервью:
„То, мол, это разовью,
Напишу, мол, то и это,
Замышляю то да се“.
Пишет пьесы—
Вот и все!

КУПРИНЯТА

В. Голичникову и Б. Папаригопуло,
авторам „Господ офицеров“, написанных
по „Поединку“ Куприна

Голичников, Папаригопуло
Всё бродят темы около,
Переварив сполна
Рассказы Куприна...

НЕКРАСОВ и ДВОЕ ДРУГИХ

Чуковский и Евгенийев-Максимов

Дожили оба до седин,
Но нет в работе их покоя:
Поэт Некрасов был один,
„Некрасоедов“ — целых двое!

НЕПОБЕДИМЫЕ

С. Марвичу

Упругость мышц—атлетики основа.
Иной силен, как молодой медведь,
Но ты найди мне силача такого,
Кто б мог твоих „Ижорцев“ одолеть.

МЯГКАЯ ПРОЗА

Ю. Герману

Всегда изящна и легка,
Легко „журчит“ его строка...
Скользит перо, текут слова,
И не кружится голова...
Он в поезд взятый, в дальний путь,
Не утомителен ничуть...

ХОЛОДНОЕ СВЕТИЛО

Уважают все его,
Ублажают все его...
Как в тепле ни грей его,
Как стихов ни пей его—
Холодны стихи
У Асеева!

ТРАГЕДИЯ ПИСАТЕЛЯ

Фрагмент диалога

- Его несчастный случай доконал,
Бывают случаи подобные в природе,—
Он сам себя, представьте, не узнал!
— Где? В зеркале?
— Да нет же! В переводе!

ПОДНИМАЯСЬ В ГОРУ...

Евг. Федорову, автору романа „Горная дорога“

Сознаюсь: не без одышки
По твоей взбирался книжке:
То ль немолоды года,
То ль... „Дорога“ — никуда!

БОРИСУ ЛИХАРЕВУ

Холодной, уверенной пишешь рукой,
И трудно понять нам: ты кто же такой?
Поэт — „Инженер человеческих душ“
Иль просто прохладный лирический душ?

К. ФЕДИНУ

В ожидании его повести „Давос“

Ответь на наш мучительный вопрос:
Куда ведут писательские тропы?
Ужель во время „Похищения Европы“
Ты вместе с ней похитил и „Давос“?

ОТПЛЫТИЕ ИЗ ЛАДОГИ

А. Прокофьеву

Мне снился сон: рыдают с горя
девки:
Оставив шали, ленты и запевки,
Ты поднял наконец тугие якоря—
Отплыл из Ладоги в широкие моря...

УМ и СЕРДЦЕ

Дм. Щеглову

В тебе идей, конечно, тьма,
Но нету в пьесах перца!
Доходят пьесы до конца,
И ни одна—до сердца!

ГЕННАДИЮ ГОРУ

Читателю ответом помоги:
Ты выйдешь ли на время из тайги?
Не можешь с ней вовек расстаться,
Иль больше некуда тебе „податься“?

Л. СОБОЛЕВУ

Скажу открыто, без обмана:
Одна фамилия не делает романа,
Один роман не делает погоды,
Тем более на месяцы и годы...

АЛЕКСАНДРУ ГИТОВИЧУ

Воздав маститым за грехи,
Ты в „мэтрах“ ходишь,—ставишь пломбу...
О, если бы твои стихи
Равнялись твоему апломбу!

ЛЕОНИДУ БОРИСОВУ

Ты непохож на великана,
Но „пьешь из своего стакана“.
Одна беда: уж больно сладко,—
Вприкуску пей, а не внакладку!

ЕВГ. ДЕММЕНИ

Актер, писатель, режиссер
„Играет в куклы“ до сих пор!

*ПАМЯТКА
СОВРЕМЕННОМУ КОМПОЗИТОРУ*

Любой роман на музыку клади,
Одна лишь трудность впереди:
Сам пой, играй, сам публику води.



СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия	3
От автора	9

1. ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Путешествие в Пушкиниану	13
Изыскания	—
Путешествие в толстый журнал	20
Путешествие в исторический роман	25
I. Роман альковно-экономический	—
II. Роман изысканно-документальный	26
Прогулка в универмаг литературы	28
Краткий каталог	—
В гостях у писателей	31
Суд современников	—
Наши интервью	34
В гостях у критиков	36
Универсальный критик	—
Гибель Клещева	39
В гостях у редакторов	41
„Гуманисты“	—
Редкое чутье	44
В гостях у литературоведов	46
„Курочка-Ряба“	—
В гостях у издателей	50
Итоги и перспективы	—

В гостях у переводчиков	52
Анна Радлова. Переводы Шекспира .	—
В гостях у педагогов	54
Краткая памятка литературы	—

II. „И ЧЕЛОВЕК, И ЗВЕРЬ, И ПТАШКА“

Лев и ягненок	59
Лев и воробей	60
Лев-сочинитель	61
Соловей и роза	62
Поэт и соловей	—
Поэт и девушка	63
Ученый попугай	64
Перо и бумага	65
Ведущий—неведущий	66
Сон в летнюю ночь	67
Дискуссия на полке	68
Вредная душа	69
Зловредное светило	70
Писатель и записка	72
Классики и классики	73
Ожиренье	—
Решительная муха	74
Щит и писатель	75
Творческий итог	76
Читатель и классикoved	—
Читатель и вода	77
Критик в беде	78
Критик и пчела	79
Драматург и прохожий	80
Портрет и комментатор	81
Дедушка и внучек	82
Спекулянт и зритель	—
Семейный разговор	83

Творец и конец	84
Толстый и тонкий	85
Зеркало и прозаик	86
Дитя и Детиздат	87

III. БРАТЬЯ-ПИСАТЕЛИ

А. Барто	91
А. Безыменский	93
Л. Борисов	94
Н. Браун	95
В. Герасимова	96
Ю. Герман	97
А. Гитович	99
Эн Ве Гоголь и другие	100
М. Голодный	103
Г. Гор	—
В. Гусев	104
Е. Долматовский	105
М. Зощенко	106
М. Ильин	108
В. Инбер	109
В. Каверин	112
А. Караваева	114
М. Козаков	115
Б. Лихарев	119
В. Луговской	121
С. Михалков	122
„Немолодой Ленинград“	123
Ф. Панферов	124
Два Шевченко	126
М. Пришвин	128
А. Прокофьев	130
А. Пушкин и другие	132
Л. Раковский	134
В. Рождественский	135

Е. Рывина	136
И. Садофьев	137
В. Саянов	138
М. Слонимский	139
А. Твардовский	140
Н. Тихонов	141
А. Толстой	143
Ю. Тынянов	146
О. Форш	147
А. Черненко	149
К. Чуковский	150
Н. Чуковский	151
А. Чуркин	153
М. Шагинян	154
И. Щebetай-Крылатов	155
В. Шишков	158
В. Шкловский	160

IV. МАСТЕРА И ПОДМАСТЕРЬЯ

Даль и Стендаль	165
Отец и сын	—
Парус и парус	—
Архитектура и литература	166
Единственный	166
Купринята	—
Некрасов и двое других	—
Непобедимые	167
Мягкая проза	—
Холодное светило	—
Трагедия писателя	—
Поднимаясь в гору	168
Борису Лихареву	—
К. Федину, в ожидании его повести „Да- вос“	—
Отплытие из Ладоги	—

Ум и сердце	169
Геннадию Гору	—
Л. Соболеву	—
Александру Гитовичу	—
Леониду Борисову	—
Евг. Деммени	170
Памятка современному композитору	—